

**Филипп РЕЗНИКОВ**

*г. Москва*

# КОГДА

*повесть*



Покрышка подпрыгивала, пылила, порывалась покатиться в кусты шиповника, разбросавшего розовые лепестки вдоль сплошного и непроглядного забора, скрывавшего новый, с блестящей покатою крышей дом. Босоногий мальчишка, не отставая, мчался за шиной, то и дело поправлял ее курс, не давал сбиться с намеченного им же пути, а затем, ловко опередив вращающийся каучуковый диск, развернул его и направил в противоположном направлении. Чумазое, не мытое с самого утра лицо мальчишки просияло, он довольно посмотрел по сторонам, надеясь, что нашлись свидетели его проворности, подхватил с земли камень и метнул им в отдаляющуюся покырышку. Метко запущенный снаряд отскочил от нее, отлетел в шиповниковые кусты и глухо стукнулся о деревянный забор.

Андреев задвинул занавеску и отошел в сумрак небольшой комнаты, не вмещавшей ничего, кроме стола, двух стульев, узкой постели и комода. Нет, был еще письменный стол на шатких ногах и строгий порядок разложенных на нем вещей: ручек и карандашей в стеклянном стакане, точилки, двух стопок книг и нескольких тетрадей. Отдельно от всего существовала не похожая на прочие предметы в доме небольшая печь. По осени, готовясь зимовать, Андреев гадал, хватит ли ее тепла, чтобы обогреть помещение, где он обитал, или же ему придется все бросить, вернуться в город, к привычным, надежным чугунным батареям. Но небольшая печка, бесконечно требовавшая дров, грела его всю зиму и раннюю весну. Порой так, что приходилось открывать обе форточки, чтобы выпустить наружу накопившийся жар.

Если бы сейчас Андреев, стоящий посреди сумрачной комнаты, отворил дверь, ведущую на веранду, в его скромную обитель пролился бы солнечный свет: выхватил из темноты два изношенных ботинка, закинутых хозяином под кровать, разогнал контрастные тени, наполнил жилище радостью и теплом летнего дня, расцвел настроение застывшего в задумчивости пожилого мужчины, расшевелил в нем желание выйти наружу, на рыжее, недавно покрашенное крыльцо.

Вчера исполнился год, как Андреев жил в этом доме. Он купил его запрос-



то: без лишней суеты, переживаний. Захотел — и купил. Избежал мучительной стадии обсуждения покупки с родными и друзьями. Обсуждения, порой отбивающего всякую охоту осуществить задуманное. Что могли, мысленно успокаивал себя он, посоветовать все реже вспоминавшие о нем друзья и немногочисленные родственники, разбросанные по стране, давно не приезжавшие, редко звонившие и писавшие? Что они могли решить, не зная его намерений, желаний, потребностей? Все свелось бы к пустому пересчету имеющихся средств, предложениям дать сколько-нибудь в долг, чтобы у Андреева после приобретения дома осталось на кусок хлеба с маслом, а может, просто к сетованию на скромность собственного житья, плохую устроенность жизни. Разговор повелся бы не об андреевском быте, а об их собственном, ведь чужое проще измерять, сопоставляя со своим.

Не сомневаясь в необходимости покупки, Андреев с легким сердцем простился с городской квартирой на четвертом этаже неприметной пятиэтажки, отгороженной от двухполосной оживленной дороги тополями. Он помнил их еще беззащитными деревцами с тонкими стволами, гнущимися к земле при каждом сильном порыве ветра. Они могли погибнуть во время грозы, но выстояли. С каждым годом двигались тяжелеющими кронами ввысь, набирались жизненной силы. Три десятилетия Андреев наблюдал, как они растут, превращаясь в красивых исполинов. Они бросали желанную тень в зной, скрывали окна от лучей всепроникающего солнца. Они шелестели листьями, перешептывались в штиль, и иногда Андреев ясно слышал музыку, сочиненную ими. Мог подолгу сидеть у открытого окна и слушать тополиные голоса. Он был благодарен этим тополям и с пониманием каждый июнь терпел распространявшийся по дворам пух, заполнявший все окрест, лезший в окна, в ноздри, заставлявший чихать и чертыхаться.

Уезжая из города, ключи по старой привычке (Вадька ее никогда не одобрял) оставил соседке. Сходил на почту, оставил новый адрес для доставки корреспонденции: иногда приходили письма от двух сослуживцев и двоюродной сестры из Чимкента, куда он собирался-собирался, да так и не поехал. Ежемесячно приноси-

ли «Новый мир» и «Знамя»: Андреев все чаще скучал за чтением, многое пропускал, хотя прежде прочитывал журналы от корки до корки, ждал продолжений и окончаний повестей и романов, гадал, о чем автор говорил в полной, не сокращенной редакцией версии. Ему хотелось верить, что, приобрети он затем книгу с тем или иным романом, он получит наслаждение куда большее, нежели от журнальной публикации: появятся недостающие описания пейзажей и характеров, вернуться на законное место опущенные диалоги, произведение зазвучит мощнее, правдоподобнее. (Нет, разумеется, он был доволен и журнальными вариантами, но отчего-то всегда желал большего.) Случалось так, что, подозревая в тексте лакуны, Андреев начинал мысленно их заполнять, сочинять про себя, придумывать, нисколько при этом не намереваясь соревноваться с авторами, не пытаясь показаться себе лучше них хоть в чем-то. Напротив, тех, кто писал хорошо, Андреев уважал и ценил, втайне завидуя их способности сцеплять вместе предложения, выстраивая из них тексты.

Всю жизнь он проработал в редакции. Знал ее кухню от и до. Вычитываемые им газетные публикации нередко сокращали — их следовало уместить на полосе. Из текстов уходили слова; перестраивались целые предложения; порой в угоду лаконичности вымарывались абзацы. Иных авторов становилось жаль; другие, старавшиеся наговорить побольше, сочувствия не вызывали. Крест ставился на статьях. После выхода очередного номера из печати Андреев пролистывал его, анализировал и приходил к выводу, что редактор оказался прав, не дав ходу тому или иному тексту — теперь ничто не отвлекало читательского внимания, сконцентрированного только на действительно важных новостях и сюжетах.

Вышедшие номера Андреев листал быстро, останавливаясь лишь на знакомых уже заголовках, не вникая в текст. Он боялся. Это был один из самых неприятных, гнетущих страхов в его жизни — страх обнаружить на странице ошибку. Ошибку, не замеченную им самим, пропущенную по неизвестной причине, как будто бы выставленную на всеобщее обозрение. Если после него находили ошибку, он испытывал такой не-

выносимый стыд, что до конца дня старался избегать контактов с сослуживцами, держался в стороне от разговоров, прятал глаза, избывал ощущение собственной никчемности еще более усердным трудом. Перечитывал новые тексты снова и снова, не желая, чтобы на завтра всплыла очередная ошибка. Ошибки он ненавидел. Грош цена корректору, пропускающему огрехи, — повторял себе постоянно. Но все же ошибки были такой же неотъемлемой частью его жизни, как утренний чай, как бутерброд, принесенный из дома и съеденный в обед, как послеобеденные слипающиеся веки.

Долгие годы он работал в неразрывной связке с редакторами. Именно после них к нему приходили тексты, после них ему следовало избавить публикации от оставшихся шероховатостей и ошибок. По молодости, когда Андреев делал первые шаги в профессии, редакторская работа с текстом представлялась ему сущим волшебством. Он буквально любовался тем, как мастерски работают умудренные, пожилые редакторы, помнившие и знавшие вдоль и поперек еще дореформенную орфографию, не сразу перестроившиеся, много говорившие о самой реформе, спорившие в перерывах, не соглашавшиеся друг с другом. Андреев вглядывался в редакторские правки, старался вникнуть в их суть, постоянно что-то для себя смекал и теперь, спустя годы, был уверен, что лучшей школы для молодого специалиста нельзя вообразить. Институтские знания казались поверхностными; недостаток практики не позволял пользоваться теорией во всю силу.

Он внимательно слушал старших коллег, общался к их знаниям, опыту, впитывал, делал пометы в памяти и в специально заведенном блокноте. Таких блокнотов за годы скопилось около десятка. Он как-то чувствовал, что редактором, по крайней мере таким, как окружавшие его, ему никогда и ни за что не стать. И дело было не в неверии в самого себя, а скорее в осознании того, что редакторство — особый дар, данный не всем. Андреев продолжал делать собственное дело и в какой-то момент понял, что за это его уважают, ценят. Пусть почти никогда не хвалят, но ценят. Дорожат. Иной читатель, открывая выпускные данные книги, глядит сквозь список должностей и фамилий возле

них и даже не представляет, какой порой титанический труд стоит за перечисленными именами. «Корректор В.В. Андреев» — кому это хоть что-нибудь скажет? Для большинства это лишь слова, для Андреева — жизнь.

Он работал с газетами и книгами. Второе нравилось ему куда больше, но основу его практики составляла ежедневная периодика. Он не роптал и месяцами мог ждать, когда редактор принесет толстенную рукопись. Получив ее, уходил в текст с головой, буквально отнесясь от всего, что окружало. Вникая в рукопись, про себя проговаривал слово за словом, иногда невольно шевелил губами, беззвучно артикулируя, тянулся то за одним, то за другим справочником, мучился в сомнениях, в особо сложных случаях бежал за советом к Ангелине Павловне, девяностолетней старухе в толстых очках, вечно сгорбленной в низком кресле над очередным чтением. Он задавал вопрос, она долго смотрела на него своими большими глазами, молчала, а затем, точно электронно-вычислительная машина, выдавала ответ и, не дожидаясь его реакции, возвращалась к своим занятиям. Когда она умерла — вот так, сидя в том самом кресле, Андреев почувствовал, что потерял близкого человека. Был на похоронах, стоял у гроба, не узнавал ее без очков: она выглядела намного моложе, если так можно сказать о древней старухе, ровеснице Бунина и Куприна...

Покидая Москву, все необходимое Андреев за час уложил в чемодан и спортивную сумку. Затем целый вечер чашку за чашкой пил чай и рассуждал про себя, какой простой и тихой станет его жизнь. Будто бы многие годы она была иной. Он улыбнулся этой мысли, закрыл глаза и представил свой обычный маршрут: за угол дома, на остановку. Возле нее киоск печати. Неизменно выложена в ряду самых читаемых газета, в которой он работает. Ожидание автобуса, такое мучительное зимой, пятнадцать минут до метро, а там по прямой шесть остановок. От метро до редакции рукой подать — только поднялся по эскалатору, вышел из стеклянных дверей, и вот уже подъезд с массивной дверью. Приветливый вахтер Слава с черными усами при совершенно седой голове, любитель Тургенева и акмеизма, не признаю-

ший современной литературы, воротящий нос от ее «новшеств» и «горлопанства». Исключением Слава считал только Юрия Казакова, называя его прямым наследником писателей минувшего столетия. «Пишет мало, — разводил начитанный вахтер руками и говорил, что устал перечитывать одно и то же. — «Голубое и зеленое» словно про меня написано!»

В редакции существовали группки, каждая из которых превозносила какого-нибудь писателя или поэта. Были любители Смелякова; отдельно от них обретались, почти как члены тайного ордена, почитатели Ахматовой. Андреев хорошо помнил, как вышел ее последний сборник «Бег времени». Как и все, прочел его, в обсуждении не вступал, только слушал других: с чем-то соглашался, с чем-то нет. Он любил литературу, но предпочитал не говорить о ней много, считая чтение сокровенным, очень личным занятием. Двумя годами ранее в самиздате вышла «Поэма без героя», и кое у кого из знакомых она была на руках, но Андреев боялся прикасаться к самиздатовским рукописям, приносить их домой. Боялся возможных последствий. Однажды очутился в гостях, где поэму читали вслух. Сидел в сторонке, потупив взор, словно мальчишка, попавший на взрослый праздник. «Все в порядке; лежит поэма и, как свойственно ей, молчит».

Андреев дважды брался за трубку телефонного аппарата, раскрывал записную книжку, хотя помнил нужные номера наизусть, тянул и тянул время, откладывая звонок. «А что я скажу? Нет, лучше напишу уже оттуда». Он думал о друзьях: как, вероятно, они не смогут до него дозвониться, начнут волноваться, забьют тревогу. Впрочем, она рассеется — в этом Андреев не сомневался. «Поищут и успокоятся, станут ждать, когда сам появлюсь». Он знал характеры друзей назубок, и от этого становилось немного легче.

Он не хотел звонить им, опасаясь, что они, ничего до сих пор не зная о его решении уехать, примутся отговаривать, убеждать, что лучше остаться в городе, где рядом магазины, кино, библиотека в конце концов. Если необходимо — близко помощь. Павлик мучился гипертонией несколько лет, и врачи «скорой» бывали в его доме не реже раза в месяц. Он наверняка заговорит о доступности медицинской помощи в городе, предположил Андреев.

«Что ты будешь делать там зимой? — непременно спросит Женька. — Зимой от печки не отойдешь. Что за жизнь? Сплошное ограничение!» Евгений не мыслил своей жизни без городского комфорта — современной теплой квартиры; страдал летними месяцами без горячей воды, дважды в день гремел баком и тазиками с водой, на разогрев которых уходила целая вечность.

Объяснить им все в письмах представлялось Андрееву подходящим вариантом. Так он по крайней мере не будет записываться, подыскивая нужные слова. Слова заранее появятся на бумаге, и никто не перебьет его, не упрекнет, примет случившееся молча. Слова на бумаге возвращаются раз и навсегда, и читающий может вернуться к ним снова и снова. По телефону иначе: все происходит здесь и сейчас, а Андреев, собрав вещи, торопился в завтрашний день, когда ранним утром отправится на вокзал и таким образом простится с прежней жизнью. Фантазия рисовала эту картину нежной пастелью, и он не мог ею налюбоваться.

Да, решил Андреев, он непременно напишет друзьям сразу по прибытии. В свое время он пристрастился писать письма — писал Вадьке регулярно и много. От самого Вадьки письма приходили короткие, в них все было по делу. Андреев же писал пространно, с удовольствием, надеясь, что адресат скоротает время за чтением, посвятит отцу немного времени.

Единственное, что тяготило Андреева, — тяжеловесность, косноязычность собственных писем. Их требовалось победить, чтобы наполнить строки простой ясностью. Однако он осознавал, что писатель из него не просто никудышный, а вовсе никакой, и значит, ничего путного не выйдет. Юношеские попытки писать он быстро бросил, хотя кое-кто его хвалил, даже учительница литературы. Но он понимал, что хвалящие, скорее, ободряют его из дружеских чувств, некоего сочувствия, из желания поддержать. Много позже Андреев твердо решил для себя, что никогда и ни за что нельзя поддерживать того, кто делает что-то плохо. Плохо сочиняет — скажи, плохо поет — обрати на это внимание, плохо играет — не молчи. Человека следует поддерживать только в том, в чем он, по-твоему, действительно хорош или

сумеет чего-то добиться. Не видишь зачатков таланта, предрасположенности к делу — не хвали, не ободрай, не давай надежды. Каждый должен быть занят своим делом. Обнаружить призвание непросто — многие проводят жизнь, его не найдя. Но отыскать его — вот одна из главнейших задач человека. Многие занимают не свое место только потому, что однажды их похвалили за то, за что требовалось пожуричь, отругать, раскритиковать. Похвалив, предоставили шанс заниматься тем, к чему на самом деле не было склонности.

Андреев бывал жесток в своих суждениях, порой портил с людьми отношения, но оставался непреклонен, не поступаясь главным своим принципом — говорить правду в лицо. Какой бы горькой она ни была.

Письма были сложным жанром — таким же непрым, как рассказы в юности. Тогда Андреев страстно хотел писать, но не знал о чем. Стараясь удовлетворить потребность в творчестве, унять говорящее в нем настроение созидать, он сочинял пространные тексты, снабжая их диалогами, пытаясь наполнить житейскими афоризмами, а потом разочарованно перечитывал получившееся. В итоге писать прекратил и впоследствии не пожалел об этом.

Письма, адресованные Вадьке, требовали серьезного наполнения, увлекательного и подробного рассказа. Андрееву не хотелось, чтобы сын прочитывал двойной, извлеченный из середины тетради листок по диагонали, невдумчиво. Он надеялся, что Вадька прочтет написанное не раз и это поддержит его, приободрит, быть может, развеселит или заставит над чем-нибудь задуматься. В своих ответных письмах сын редко упоминал написанное Андреевым, но отец надеялся, что в скором времени, при встрече, представится возможность все изложенное спокойно обсудить.

Андреев хорошо запомнил утро ровно год назад: вот он заходит к Степановым и передает запасную связку ключей на хранение, смеется, когда Маша, дочка хозяйки, говорит, что теперь у него начинается самая-пресамая жизнь пенсионера: с бесконечно дрящимися днями, ранним вставанием и ранним отходом ко сну, с небольшим огородом, с обязательной грядкой мелкой, кисловатой на вкус клубники — пред-

мета вожделения местной ребятни. Андреев отнекивался: мол, ему не до огорода, есть другие планы, а сам вспоминал, что в чемодане или в сумке лежит пакет с семенами помидоров, огурцов, латука и чего-то еще, что он торопливо покупал на рынке, почему-то не желая, чтобы кто-то из знакомых заметил его. Тогда возникло какое-то чувство стыдливости: с этим огородом он и вправду станет настоящим пенсионером.

В душевной электричке, где большая часть окон не открывалась, Андрееву уступили место: случилось это не впервые, но именно теперь ему стало грустно. Прошло время, когда он уступал другим, более взрослым людям. Он вполне мог остаться стоять, но было неловко отказывать молодому человеку с девушкой, предложившим ему посидеть. Он отчего-то разволновался, трижды поблагодарил и наконец опустил на сиденье. Еще раз поблагодарил их мысленно, глядя на их смеющиеся, совсем юные лица, обрадовался, что вдруг перестало ныть колено, занимавшее его последний год и просившееся на прием к врачу. Достал купленную на вокзале газету, стал рыться в сумке в поисках очешников. В одном хранились очки для чтения, в другом — «для дали». Он вечно путал их, злился на себя, что по виду сразу не может различить, какие очки для чего, не запоминал разницу, пусть и небольшую, в оправках.

Электричка преодолела несколько перегонов, мелькнули, не запечатлевшись в памяти, станции, и Андреев, отрываясь от статейных строчек, подумал: «Зачем это все? Надо было остаться и жить как жил». Его охватили тревога, страх перед новым бытом, давно пустовавшим жильем (до покупки дом простоял в одиночестве несколько лет после смерти прежнего владельца). Он ощутил себя человеком, мыслящим свою жизнь только в границах большого города. Детство и юность прошли в пределах Садового кольца, в большом доме недалеко от набережной. Потом благодаря отцу он заполучил собственную квартиру — в новом спальном районе, в неприглядном панельном доме. Но квартира была своя, и это примирило его с необустроенностью района, с отсутствием близости метро, не до конца приведенными в порядок улицами, где асфальтовое покрытие перемежалось с грунтовым или вовсе непролаз-

ной грязью. Среди новостроек попадались старые, возведенные, должно быть, в прошлом веке частные домишки со своим хозяйством, небольшими опрятными садами. Шли годы, дома эти пустели, появлялись шумные бульдозеры и сносили покинутые постройки; исчезали сады, появлялся на их месте асфальт, высились многоэтажки — город рос, и росту этому ничто не могло воспрепятствовать.

Андреев не раз и не два выезжал из Москвы, бывал в разных городах, гостил на чужих дачах, ездил в богом забытые деревеньки, но уже через пару дней ощущал тоску по городу — по его шуму, ритму, оживленности улиц и площадей, а вместе с тем по тишине его аллей и парков, просторам тенистых скверов, размеренному течению жизни, по этому прекрасному контрасту между пульсирующей жизнью столицы и покоем ее спальных районов.

Район преобразался год от года. Людей становилось больше. Встречая молодых матерей, катящих перед собой коляски, Андреев улыбался, радуясь возникновению где-то рядом с ним новой жизни: он чувствовал ее тепло; оно согревало, наполняло живыми красками город. В последнее время он упрекал себя за сентиментальность: при виде этих новых жизней, этих маленьких людей на глаза наворачивались слезы. Продолжая улыбаться, он старался отвести взгляд, отойти...

Тревога разрасталась, а до нужной станции оставалось всего ничего. Не читалось. Он спрятал газету и принялся смотреть на пейзажи, на сменяющиеся в окне, словно кадры диафильма, картинки. Давным-давно, вечерами, он вешал на дверь Вадькиной комнаты простыню, устанавливал напротив, в полутора метрах на полу, диапроектор, подкладывал под него толстую книгу, чтобы приподнять изображение на уровень глаз усевшегося рядом сына, и начинал сеанс. Он показывал Вадьке кадр за кадром, читал текст под изображением. (Став старше, сын сам читал текст вслух, но никогда не брался крутить ручку на проекторе, доверяя это дело отцу.) Пленок с диафильмами было много, и каждую они посмотрели не раз. Цветные слайды, подсвеченные ярким оком проектора, интересовали Вадьку больше мультфильмов по телевизору. В установке аппарата, в зарядании пленки, в ее

прокрутке заключалось особое таинство. Некий ритуал, известный и доступный только отцу и сыну. Никто, кроме них, не имел права войти в комнату во время сеанса и присоединиться к просмотру. Это принадлежало им двоим безо всяких оговорок.

В тамбуре шумела молодежная компания, кричала музыка из сиплого динамика переносного кассетного магнитофона, кто-то пел о группе крови и переменах, а по вагону тянуло табачным дымом. Андреев сам никогда не курил, только несколько первых месяцев в армии, но сейчас раздувал ноздри, вбирая табачный аромат, и так успокаивался, пытался отогнать бередящие его мысли. Он вдыхал табачный запах, когда Вадька курил на кухне — после долгой-долгой разлуки, накануне нового расставания. Вадька был взрослый, красивый, загорелый, веселый. Совсем не похожий на того мальчишку, которого почти год назад Андреев с женой провожали в армию, стоя во дворе военкомата. Вадик тогда тоже курил — впервые в присутствии родителей. Ирина заметно нервничала, видя сына с сигаретой, а Андреев сказал безо всякой надежды: «Ты бросай. Ни к чему это, понимаешь?» Вадька кивнул и жадно затянулся, предчувствуя трудную дорогу.

«Следующая станция — Константиновка», — объявил женский голос. Андреев очнулся от нахлынувших внезапно воспоминаний, взял свои вещи, вышел в тамбур, к горластой молодежи, и стал считать секунды, возбужденно ожидая, когда поезд остановится.

Когда ты родился, шел дождь. Мелко припустил с утра, а к обеду обрушился на улицу ливнем, и потекли по дорогам и тротуарам быстрые потоки холодной воды. Они подхватывали палящую листву и увлекали ее за собой вниз, к воронке, образовавшейся на месте ливнестока. Листья, точно бумажные кораблики по весне, крутились в быстром клокочущем водовороте, уходили под воду и выныривали.

Той осенью дождь шел почти каждый день. Солнце появлялось лишь на краткие мгновения, чтобы вновь скрыться в бороздивших небо тучах.

Когда я принес тебя домой, капли дождя стучали по оконному стеклу и привлекали твое

внимание. Я поднес тебя к окну так близко, что от тепла твоего дыхания запотело маленькое овальное облачко. Тебе нравилось наблюдать за текущими по стеклу струями. Словно змейки, они извивались, чертили причудливые кривые линии, сливались воедино и исчезали, перебираясь на карниз и срываясь в кусты под окнами. Вид переливчатых змеек умиротворял тебя. Пока я поднимался по лестнице, держа тебя, совсем крохотного, на руках, ты плакал, но потом, увидев, как красив может быть дождь, от которого минутой раньше я укрыл тебя, вылезая из такси, ты замолчал. Вскоре, убаюканный мерными ударами капель о карниз, ты спал, а я боялся отнестись тебя к кровати, уложить на новое покрывальце, усыпанное цветами.

Ты проснулся среди ночи, потому что дождь перестал. Неожиданная тишина насторожила тебя, и ты закричал, стал звать маму и меня. Мы пришли и долго не могли успокоить тебя. До тех пор, пока по велению неба вновь не застучали по окнам тяжелые осенние капли. Любого другого такая погода вогнала бы в уныние, но только не тебя. Осень была твоим любимым временем года.

Родившись под шум дождя, под его понятную и знакомую каждому музыку, ты полюбил его на всю жизнь. Когда вся дворовая ребятня, застигнутая врасплох внезапным дождем, пряталась под козырьками подъездов, ты как ни в чем не бывало носился под дождевыми струями и, сняв обувь, прыгал по лужам. Мне хотелось окрикнуть тебя с балкона и попросить найти себе укрытие, но ты выглядел таким счастливым, что я просто не имел права тебя останавливать. Потом ты возвращался в дом, захлебываясь от радости и смеха, весь мокрый, продрогший, и я помогал тебе снять липнувшую к телу одежду, тут же выжимал шорты и майку в раковину, набирал полную ванну горячей воды и оставлял тебя отогреваться. И тут начиналось еще большее водное приключение: в ванне оказывался весь твой игрушечный флот, даже катер на батарейках. Он переставал работать каждый раз, когда вода переливалась за борт и попадала на контакты. Но перед этим катер успевал несколько раз покрутить винтом.

Когда идет дождь, я вспоминаю дни твоего

детства, твоего неизбежного постепенного взросления — самые счастливые мои дни.

Андреев посмотрелся в маленькое зеркальце над раковиной, провел по правой щеке рукой, нащупывая несрезанные волоски, и потянулся за бритвой. Он не мог вспомнить, когда его лицо стало таким: вытянувшимся, с разводами темной синевы от гладко выбритой щетины. Подбородок выглядел заостренным, треугольным, каким-то неприятным. Андреев бросил взгляд на фотокарточки, приколотые булавками к обоям над постелью, нашел свой молодой снимок, но с расстояния лицо казалось бледным пятном.

Он аккуратно открепил снимок, поднес к глазам — ничего общего с собой нынешним. Разве что изгиб бровей прежний, а все остальное переменилось. Как змея сбрасывает кожу, так Андреев сменил однажды — он не знал, в какой именно момент, — облик. Но если теперь он едва узнавал себя, то как узнавали его другие? Впрочем, в поселке его окружали люди, не имевшие представления о том, каким он был, кем он был, что произошло в его жизни. Его не спрашивали — он не рассказывал.

Что отличает его от того молодого мужчины, глядящего с фотокарточки? Сложение, походка, движения? Он всегда ходил быстро, словно вечно спеша, и оттого собственные движения казались ему резкими. Он был высок, худ и порой представлялся самому себе натянутой гитарной струной, которую едва тронь — и она отзовется. Сегодня в зеркале он обнаружил медлительного, настороженно смотрящего человека. Был ли тот человек подлинным Андреевым, сам Андреев ответить не решался...

Он заранее продумывал, как все будет: как он приступит наконец к задуманному. Еще с вечера положил на центр стола тетрадь в клетку, справа от нее синюю шариковую ручку, на подставке, какой обычно пользуются школьники, установил исписанный лист — созданный еще зимой черновик. Скорее, неопределенный набросок, чем изложенную вчерне идею. Строки на этом листе появились декабрьским поздним вечером, когда, сидя в полном одиночестве в хорошо протопленной комнатке, он вспоминал новогодние елки в доме его детства, а затем

елки, которые сам приносил в свой дом с базара. Но, размышляя о празднике, он записал на листе совсем другие мысли, не имевшие к нему отношения.

Подготовив стол к работе, до утра к нему не приближался. Наутро же коснулся пальцами поверхности стола и ощутил какую-то дрожь. Нет, это не стол качнулся на своих нестойких ногах, это столешница вибрировала, словно улавливая какую-то неслышную Андрееву мелодию. Он резко отдернул руку и пошел готовить завтрак. Волнение нарастало, пока он допивал чай. Боясь вернуться к дрожащему столу, он снова плеснул кипятка в кружку, долил слабой, едва различимой заварки, встал на крыльце и рассмотрел свой небольшой участок: символический огород, отчего-то отнимавший все силы, дорожку, выложенную им прошлым летом, смородиновый куст в мелких листочках, стеклянные банки, выставленные вдоль забора в траве. В них он закатает огурцы. Он приглядывался к каждому предмету в надежде, что вот-вот обнаружит в одном из них какую-нибудь подсказку, что позволит приступить к задуманному. Намеренно откладывал возвращение в комнату, к столу и чистым тетрадным листам, требующим, чтобы их наполнили содержанием.

Еще в городе, прошлой весной, он решил, что будет писать. Не знал, что именно, но чувствовал потребность, острую необходимость. В непривычно пустом, одиноком существовании, когда не приходилось каждый день ездить на работу и можно было целыми днями безвылазно сидеть в квартире, он все сильнее отчаивался от скуки, безделья, от такого дорогого ему прежде чтения, внезапно переставшего приносить радость. Он дряхлел — если не телом, то душой. Чувствовал, как она истончается, отслаивается, перестает принадлежать ему, хочет с ним расстаться, чтобы, быть может, найти себе новое пристанище или вовсе растаять. Андреев стал выходить на прогулки: бродил по парковым дорожкам, устраивал привалы на скамейках, читал по два-три часа кряду, пока не надоедало. Подступивший голод гнал его домой, где он готовил простые блюда, торопливо ел (в одиночестве есть невыносимо) и ложился подремать. Вечера проводил у телевизора, разгадывал кроссворды в «Вечерней

Москве», шелкал кнопками в поисках интересных программ, снова брался за какую-нибудь книгу, но при электрическом свете быстро начинали болеть глаза.

Новый день был удивительно похож на предыдущий, и Андреева это не устраивало.

Тогда и пришла мысль отыскать за городом какой-нибудь выставленный на продажу дом, приобрести его (накоплений на сберкнижке должно было хватить), изменить образ жизни и мыслей, кроме разочарований и тяжести, ничего не приносящих. Захотелось писать — вернуться к тому, что было без сожалений заброшено в юности, ко вновь возродившемуся благодаря письмам, написанным Вадьке. Андреев решил зарисовать все те бесконечные картины, что возникали в его воображении, пока он пребывал во власти городской хандры, обмякая от ощущения своей ненужности никому вокруг: вышел на пенсию — и жизнь как будто прекратилась.

К уходу из редакции его никто не подталкивал, хотя специалистов, жаждущих работать и готовых его заменить, было предостаточно. И он охотно уступил свое место, полагая, что, выйдя наконец в отставку, займется делами, которые постоянно откладывал в долгий ящик. Однако еще до выхода на пенсию Андрееву следовало определить, что это за дела, чтобы потом не обнаружить, что на самом деле их нет. Никаких дел в новообретенной пенсионерской жизни не обнаружилось. В первые недели он как мог прибрался в квартире, даже покрасил подоконники, постирал занавески, сложил ненужные вещи на антресоль, но этим все и ограничилось. Однажды утром, поняв, что делать больше нечего, уселся в кресло перед телевизором и начал дряхлеть. Этот глагол сразу пришел ему на ум, едва он заподозрил, что новое существование ничего хорошего не сулит.

Фантазия то и дело подбрасывала ему самые неожиданные воспоминания, воскрешала в памяти то, о чем он давно не думал, закинув на чердак памяти. Все эти внезапно возникавшие картины будоражили сознание, и ему хотелось как-то систематизировать их, привести в порядок, выстроить в логичном порядке. Следовало все записать. Для кого? Андреев не знал и с досадой представлял, что после смерти (а она, ко-



нечно же, неизбежна) его тетради (если он что-нибудь напишет) будут тлеть на свалке или в каком-нибудь темном сыром углу, покрываемая зеленой, дурно пахнущей плесенью.

Новое пристанище отыскалось на удивление быстро — благодаря объявлению в газете. По телефону ему ответил молодой женский голос, сообщивший, что дом действительно продается. Правда, требуются некоторые вложения и усилия, чтобы привести его в порядок после нескольких лет простоя. Родитель девушки, снявшей трубку, умер в этом доме, и теперь жилище стояло, никому из оставшихся родственников не нужное. Цена оказалась подходящей, и Андреев сразу же согласился поехать и посмотреть на дом. В тот же день, как говорится, ударили по рукам. Всю весну Андреев навещал в Константиновку, приводил полученное почти что даром жилье в надлежащий вид, выносил ненужный хлам, привозил свои вещи, занимался делами бюрократическими, переоформляя дом на себя, пока наконец в начале прошлого лета не поселился в Константиновке окончательно.

Уже там, через несколько дней по приезду, на столбе прочитал объявление: «Продается печатная машинка. Недорого. Улица Ленина, 4». Сначала прошел мимо листка, не заинтересовавшись. На следующий день постоял рядом, размышляя, не сходить ли по указанному адресу. Еще через день собрался. Дверь открыла маленькая старушка с проваленным ртом и седыми редкими волосами под синим ободком. Войдя в ее дом, Андреев заметил в банке на окне вставную челюсть, о которой она, вероятно, забыла. Старушка говорила торопливо и неразборчиво, словно переваливала во рту ложку овсяной каши, и из всего сказанного он понял только то, что машинка очень хорошая, стоит гораздо дороже, но занимает много места, да и вообще ей, старухе, ни к чему. Когда же она подвела его к столику с машинкой, он сразу заметил, что на клавиатуре недостает двух клавиш и они заменены кругляшками от распиленной винной пробки. Какие буквы отсутствуют, он гадать не стал. Не было и ленты, зато, хвасталась женщина, она бесплатно, в доверок отдаст пачку копирки.

Андреев не хотел брать выдавшие виды ма-

шинку, но не знал, как отбаяриться и уйти. Пожаловался было, что прибор в плохом виде, на что старушка покачала головой, дважды стукнула по клавише с литерой, воспроизводимой отсутствием начертания (проще говоря — по пробелу), и резко снизила цену. Андреев оглянулся на челюсть в банке, на разложенные по полу комнаты газеты, скрывающие от его взора бог весть что, и согласился.

Неся покупку домой, твердо решил, что писать будет в тетрадях, от руки. Ему вспомнился бесконечный треск машбюро, длинные и спорые пальцы машинисток, словно играющих концерт. Творчество же требовало сосредоточения и тишины, особого настроения, который он пока представлял себе довольно смутно. «Лиха беда начало», — усмехнулся он, пряча печатную машинку в сарай.

Сколько лет Андреев корректировал творения других, помогал авторам, правя за ними ошибки, помечая изъяны, пропущенные редактором, предлагал замены, советовал. Иными словами, был причастен (но лишь отчасти) к созданию. Теперь же ему самому предстояло сделать создателем. И это пугало его. Он в очередной раз прошелся по двору, пытаясь выдумать себе занятие здесь, на улице, страшаясь возвращаться в дом, к давно замысленному делу. Видимо, он еще не был к нему готов.

Как же это выходило у Пушкина? У Ахматовой? Неужели они просто садились и писали? Разве может быть так просто, так легко?

Легко, наверное, когда...

«Когда». — Андреев произнес слово вслух, выронил изо рта совершенно случайно. Он удивился: какое оно звучное, крепкое, твердое. Оно послужит началом.

Когда.

«Когда я подойду к столу, усядусь на стуле, открою тетрадь на первой странице, тогда...»

Неслышимый и незримый самолет расчертил ясное голубое небо белой пастой, разрезал небесную ткань на две половины, создал строку. Первую. С которой все начинается.

Когда тебе исполнилось семь, мы впервые взяли тебя на море. Полтора дня в душном, многоголосом летнем плацкарте, и Феодосия у наших ног.

Набережная, множество людей, обилие фруктов, не иссякающий запах свиного шашлыка. Насыпанный из камней, уходящий в море волнорез, закатное небо. На открытках Феодосия была иной, не такой красивой.

Я поддерживал тебя руками под животом, а ты барахтался у берега: радостно, с восторгом колотя ножками по теплой зеленоватой воде. Ты хохотал и не мог остановиться: вода заливалась в рот, ты кашлял, отплевывался, фыркал и снова хохотал. Вместе с тобой смеялся до слез и я, а мама махала нам рукой с берега, из-под большого синего зонта. Его тень берегла ее светлую фарфоровую кожу, не терпевшую прикосновений солнечной длани.

В первые дни мы были с тобой, как раки, красные, а потом бронзовели, темнели на зависть маме, всю жизнь остававшейся бледной. Твои волосы быстро выгорели, и ты превратился в блондина. Когда первого сентября пришел в школу, учительница не узнала тебя: «Мальчик, ты кто? Новенький?» — «Нет, я Вадим Андреев. Я старенький». Всю осень ты проходил светловолосым загорелым мальчишкой, пока загар окончательно не смылся в бассейне, куда мы записали тебя в начале учебного года, пока не вернулся твой родной каштановый цвет.

Помнишь ли ты, как в те феодосийские дни у мамы случился тепловой удар? Я вызвал врачей и сидел подле нее, шупая на запястье пульс. Ее сердце качало кровь, как сошедший с ума механизм огромных часов. Она не могла подняться с постели — сильно кружилась голова. Приподнимется на локте и тут же падает на подушку. Но, уморившись за день, ты спал и не слышал, как приехали врачи и забрали ее в больницу.

Утром ты скучал по ней, отказывался идти на море, не соглашался на мороженое, не хотел завтракать. Кое-как мне удалось уговорить тебя пойти на пляж. Ты даже не смотрел в сторону теплого моря, свернулся калачиком на полотенце и лежал так, не отзываясь на мой голос. К полудню наконец перестал грустить и позвал меня купаться.

Мы строили замок из песка — твой первый. Ты наблюдал, как я возвожу одну стену, затем другую. Я поручил тебе рыть вдоль них рвы. Вместе мы лепили башни, украшая их ракушка-

ми. Они блестели на солнце, пока оставались мокрыми.

Ты заметил у берега медузу и подозвал меня. Словно неживая, она покачивалась в воде прозрачным призраком — большая, непонятная для тебя. Ты отказывался поверить, что это настоящее живое существо. Тогда я вошел в воду, зачерпнул медузу в сложенные ладони и извлек на поверхность. Ты рассматривал ее как нечто невероятное, вземное, фантастическое, а потом закричал: «Папа,пусти ее! Ей же больно!» Я вернул медузу в воду, и она, раздувая свой колокол, начала отдаляться от нас.

Когда я думаю о море, я вспоминаю феодосийские сумерки и твой силуэт на берегу на фоне светящихся медуз.

Когда он закончил писать первый отрывок, ничего не произошло. Этот момент он представлял иначе. Конечно, не праздником, но чем-то необычным, не свойственным привычному ходу его жизни. Видимо, он должен был испытать некоторое торжество, хотя бы потому, что вообще сумел приступить к работе. Только что он занимался не писательством, а работой. Писательство — это слишком громко. Он увидел, как это сложно — писать. Перелистнул страницы, удивился, сколько слов перечеркнуто, вписано, вновь вытиснуто. Пока писал, не обращал на это внимания. Пять вариантов первого предложения. Куда это годится? Так нельзя. Четыре из них заштрихованы. Но к концу текста — он сразу заметил — все меньше исправлений, все отчетливей выписаны слова. На первом листе почерк небрежный, нервный; на последнем — разборчивый, твердый.

Андреев просунул тетрадь между книг, чтобы она не мозолила ему глаза в течение дня. Взглянул на часы. Куда улетучились минуты этого утра? Неужели впитались в строчки тетради?

В привычную пору аппетит не пришел. Андреев пропустил обед, шатаясь по участку, выматривая сорняки на грядках и с наслаждением выдергивая их.

Однажды он смотрел интервью с известным писателем. Тот признался, что заставляет себя писать. Преодолевает желание тела, души лениться, оставаться расслабленными. То есть выходило, что сама подготовка к написанию че-

го-либо — это серьезная предварительная работа над самим собой.

У Пушкина были музы, подвигавшие его на творчество, это неоспоримо. Прекрасные женщины в окружении, мимолетные влюбленности — все это заставляло поэта сочинять. Кажется, что все давалось ему легко. Перед ним Наверняка никогда не вставал вопрос: писать или не писать? Сложно представить, чтобы классик слонялся полдня по дому, перед тем как усадить себя за стол. Вряд ли возможно, что домочадцы уговаривали его приступить к работе. Наверняка, озаренный, он бегал по саду, рвал яблоки, хрустел ими и записывал в блокноте бессмертные строчки, известные теперь каждому школьнику. Непринужденность рождения чего-то литературного — вот, вероятно, залог того, что произведение останется в веках. Андреев не представлял, как сам может написать что-то непринужденно, не заставляя себя, не преодолевая какого-то невидимого барьера, стоящего между ним и его потребностью выговориться перед чистым листом бумаги.

Или, может, рассуждал он, нужно именно принуждать себя, приговаривать к столу и письменным принадлежностям, как тот писатель, выступавший по телевидению?

Он покрутил ручку радиоприемника, зазвучала классика. Андреев раздвинул занавески и посмотрел на крышу дома, стоявшего по ту сторону дороги. Новехонькая кровля звенела под солнечными лучами.

Над дорогой зависло марево. К полудню жара завладела поселком, загнала жителей в дома, под тень козырьков и навесов, под деревья. Обмахиваясь от насекомых полотенцами, шли на речку пятеро ребят. В стекло лениво билась муха. Только потому, что так заведено — биться в прозрачную преграду в поисках выхода. Андреев слышал, как на плите закипает чайник и вода бурлит внутри его алюминиевых стенок. Не хотелось сходить с места, отрывать щеку от прохладной оконной рамы. Он прикрыл глаза и слушал дрожащее жужжание мухи, отдаленные всплески в чайнике, капли по дну раковины, ударявшие каждые пять секунд, тихий голос музыки из приемника. «Вот, — подумалось ему, — то состояние, когда, не разлепляя век, нужно прокрасться к столу, нащупать

в стопке книг уголок тетради, вытянуть ее и продолжить писать».

Когда поднимался ветер, Даша прижималась брюхом к земле, ползла в кусты или, если поблизости оказывался какой-нибудь дом, под него. Пролететь можно было не под все дома в деревне, но под одним, она знала точно, всегда находилось место не только для нее. Сюда, напуганные, как и она, грозой, сбегались другие кошки. Забивались вглубь, во тьму, сверкали оттуда огоньками разных цветов — желтыми, зелеными, рубиновыми, шипели друг на друга и на раскаты грома.

Гром Даша не слышала уже давно, с тех самых пор, когда первого и единственного ее хозяина уложили на телегу поверх ароматной, нагретой на солнце соломы и увезли в сторону реки, к большому мосту, за которым лежал на нескольких холмах город. По ночам горели в городе мириады огней, разрастался над крышами гигантский светящийся купол, сотканный из тысяч и тысяч отблесков.

Она ждала хозяина на крыльце, возле своей миски, постепенно засиженной мухами, покрывавшейся какими-то корками, уродливыми наростами. Теплое и светлое время сменилось долгими сумерками, и часто проливалась сверху вода — большими, тяжелыми каплями била по спине, гнала на поиски убежища.

Поначалу Даше приходилось туго: кошка привыкла, что ее кормят, наливают ей свежую воду, и она, подобно многим сородичам, не лает жадно из луж; расчесывают шерсть, снимают клещей. Один больно впился в ухо, и хозяин целую вечность выкручивал его, прижав кошку к своим коленям, не позволяя ей шевелиться.

Нужно было охотиться. Внезапно Даша осознала, что ее мир изменился: она не слышала прежних звуков, только видела предметы вокруг себя. Заметила в траве возящуюся мышь, но слишком поздно — мышь почувствовала опасность и скрылась. Прежде Даша слышала мышиную возню и кралась к источнику звука. Ловила мышей и насекомых в удовольствие, ради развлечения — еда всегда ждала ее возле дома.

В следующий раз, увидев другую мышь, кошка припала к земле, застыла в ожидании. Мышь ее не заметила. Даша присматривалась к движе-

ниям тела серого проворного зверька, просчитывала, куда тот рванет, почувствовав приближающуюся опасность, развернула в его сторону настороженные уши. И — ничего. Немая тишина, в которой звучало только ритмичное биение чего-то внутри самой Даши. Она старалась обнаружить источник звука и поняла, что он находится в груди, ниже того места, где так приятны прикосновения ласкающих человеческих рук. Пульсирующий звук из этой точки разносился по всему телу. Она ощущала биение даже на острие когтей. Прежде она не думала, что внутри нее может что-то биться и жить своей жизнью. Кроме, разумеется, котят, родившихся у нее во множестве.

Даша рожала часто, пока в один прекрасный день коты не прекратили обращать на нее внимание. Она и сама потеряла интерес ко встречам с ними и, видимо, перестала излучать какой-то особенный запах, привлекавший котов. Они обходили ее стороной; без грусти она наблюдала, как коты подбегают к другим кошкам, вступают с теми в длительные переговоры, а потом топчут.

Мышей и прочую мелкую живность Даше пришлось учиться ловить, ориентируясь лишь на зрение и обоняние. Было невыносимо трудно. Целыми днями она оставалась голодной. Не чуралась врываться во дворы к незнакомым людям в поисках объедков. Копалась в них с отвращением, но голод всегда пересиливал жалость к самой себе, к своему положению.

Даша бегала от одного двора к другому, появлялась набегам в соседних деревнях. Удача редко поворачивалась к ней лицом, но когда это случалось, люди кормили ее чем-то лучшим, чем то, что обнаруживалось в их мусоре.

Беспризорную кошку знали уже во всей окрестности, но никто над нею не сжалился, не пригласил к себе на постой. Хотя как знать — возможно, Даша просто не услышала зова.

Людам она не доверяла. Не потому, что кто-то однажды поколотил ее палкой, запустил в ее сторону камнем, нет. Она видела, что люди разговаривают с ней, как говорил когда-то хозяин, но, не слыша интонаций, звучания самих слов, довериться не соглашалась. Даша не знала, чего ждать от обеззвученных людей, от лишнего звуков мира. Она и от грозы-то пряталась по привычке, помня, как громко раздается в небе

грохот, словно происходит какой-то великий разлом неведомо чего. Грозу кошка узнавала по разным признакам: по чернеющему небу, порывам ветра, прибывающим травы к земле, по его ударам, бьющим со злостью по морде, по крупным каплям дождя, по тому, как начинают себя вести люди и другие кошки. Люди сутились, затаскивали в свои жилища разные вещи, то и дело с тревогой взглядывали вверх.

Однажды она поняла, что гром совершенно не страшен, если ты его не слышишь. И когда в следующий раз разразилась гроза, она осталась сидеть на месте, в густой траве. Только прижалась к земле, собралась в комок, чтобы сохранять тепло, и переждала дождь. Было мокро, холодно, неприятно, но Даше нравилось собственное бесстрашие: один из опаснейших врагов — трескучий разлом в небе — побежден.

Так она узнала, что есть и другие кошки, не страшась грозы: она видела их, разгуливающих по деревне как ни в чем не бывало, занятых какими-то своими делами, не обращающих внимания на непогоду. Кое-кого гроза даже веселила. Один кот сидел и с наслаждением смотрел вверх, на причудливо сверкающие прорези в темном небе.

Даша знала, что на той стороне реки, куда увезли хозяина, тоже есть кошки. Она видела, как оттуда пришел незнакомый кот. Он сошел с моста и уверенно шагнул по дороге, словно точно знал свой маршрут. Приходили и другие — и все они пахли иначе. Чужаков она обходила стороной, не зная, чего от них ждать. А в душе, в большой красивой кошачьей душе поселилось горькое, неутихающее подозрение: быть может, хозяин остался там, за рекой, и нашел себе другую кошку? Слышашую, не оставшуюся наедине со своими сердцебиением, с бесконечной тишиной...

Даша прожила долгую жизнь. Деревенские жители, видя, как она постепенно дряхлеет, проявляли по отношению к ней все больше заботы. Ей уже почти не приходилось охотиться: прибившись сразу к нескольким дворам, она всегда получала еду. Она не приближалась к кормившим ее людям, чтобы поблагодарить, хотя они и протягивали к ней руки и что-то говорили.

Когда она умерла, никто в ближайших деревнях не узнал об этом. Кошка просто исчезла раз

и навсегда: уснула на пригреве у реки, на высокой кочке, и не проснулась.

После дня, проведенного за письменным столом, разболелась спина. Андреев попытался сделать пару упражнений, захотел присесть, но в позвоночнике что-то так громко и устрашающе хрустнуло, что он замер, боясь произвести следующее движение. Осторожно разогнувшись, сошел с крыльца и, как был в домашних тапочках, так и направился за калитку, в сторону железнодорожной станции. Жара отступила, и время для прогулки было подходящим.

Андреев не понимал, что чувствует в связи со случившимся сегодня: треть тетради заполнена текстами, но он относится к этому как к должному, обыденному, не испытывает радости неопыта, которая, как на мгновение показалось, непременно должна была посетить его. Странная вещь: он думал о том, что надо бы сесть и переписать все наново, подправить плохо сложившиеся предложения, заменить неудачные слова. Пересмотреть написанное. Отчетливо и громко заговорила в Андрееве профессия, от которой невозможно было скрыться, которую невозможно было вытравить. (Даже здесь Андреев задумался бы, как изменить предложение, чтобы избежать двойного употребления местоимения «который».) Сколько раз на досуге, взявшись за печатное издание, он портил себе чтение машинальным поиском в тексте опечаток, ошибок. Он искал их на плакатах и в объявлениях на улицах, в киноафишах и на стендах с информацией. Искал и, как ни странно, нередко обнаруживал. Видел то, чего не видят остальные. Как-то раз ткнул пальцем в газетный заголовок и спросил Ирину: «Нет, ну ты видишь?!» Она долго вглядывалась, молчала. Андреев заметил, что она уже читает сам материал. «Да нет же, нет! — воскликнул он. — В заголовке!» Ирина пожала плечами, и тогда он выпалил: «Ты что, не видишь, что вместо «наш выбор» написано «наш быбор»?!» Люди, как правило, воспринимают слово целиком, не прочитывают его буква за буквой, а потому не замечают простейших, забавнейших ошибок. Из-за которых у иных болит голова.

Не повелевать, но править. Он хотел только этого. «Мой дядя самых честных правил...» —

словно начало повествования о нелюбимом, принципиальном редакторе, никому не дающем спуска, умело орудующем ручкой и карандашом, как опытный хирург сверкающим стерильным скальпелем.

Андреев был убежден, что написанные им тексты требуют вмешательства и сокращений, причем безжалостных. Сочувствия к самому себе у него не возникало. Он подходил к ситуации трезво, понимая, что не идеален и вообще слишком много возмнил, решив, что может, даже имеет право писать.

Он не поднялся на платформу, лишь проводил взглядом проследовавшую без остановки электричку, присмотрелся к трем фигурам людей, ждущих поезда на Москву, нашупал в кармане очки и нацепил их на нос. «Тьфу!» — ругнулся он, обнаружив, что захватил очки для чтения, съезжавшие с переносицы все время, пока он писал, отвлекавшие от дела. Очки «для дали», как называл их окулист, остались где-то в доме, и Андреев без них был удивительно близорук.

Зрение расстроилось как-то разом. На работе почувствовал, что не может читать: строчки сливались, превращаясь в кишашую черными символами массу. Превозмогая внезапное происшествие, продолжил вычитывать полосу, потому что время поджимало и ответсек уже несколько раз молча заглядывал к нему. От напряжения зрения кружилась голова, и Андреев едва не сверзился со стула: повело, словно что-то сильно дернуло, вбок. Он схватился за край стола, удержал равновесие. Вскоре сдал текст, неуверенный, что все в порядке. Не мог поручиться, что на полосе не осталось ошибок, но и продолжать их искать был не в состоянии.

Отпросился на утро, поехал в институт Гельмгольца в Фурманном переулке, с кем-то даже поспорил, чтобы попасть на прием (требовали направления из поликлиники). Внимательно слушал врача, осмотревшего его и дававшего рекомендации, выписавшего рецепты на капли. Заказал их в аптеке, ждал сутки, не находя себе места, тревожась, не слепота ли это приближается, весь извелся... Видя бедственное положение сотрудника, начальство временно разгрузило Андреева. С этим первым ударом он справился, не подозревая еще, что в следующую пару лет зрение резко ухудшится: ему пропишут

очки и он водрузит их на нос, будет привыкать к новой жизни, к размытому, размазанному миру, обретающему терпимую четкость лишь тогда, когда у глаз находятся две стеклянные линзы, а на переносицу давит дужка, требующая регулировки, чтобы не натерло нос.

Все это случилось вскоре после ухода Ирины. От нервов ли, от обреченности, от горя — бог весть от чего. В минуты отчаяния, когда прописанные средства еще не подействовали, он говорил себе: «Может, все это потому, что мне теперь ни к чему видеть? Ее нет, на кого смотреть?» Он даже не мог толком перечитать письма, написанные ею в годы комсомольской юности, когда, разлученные на долгий срок, они нашли другой способ говорить друг с другом. После ее ухода Андреев возвращался к письмам каждый вечер: воскрешал в памяти те дни, когда счастье зашкаливало, кипело в крови, заставляло двигаться и преодолевать любые трудности. Их было много, но теперь все они забылись как нечто не стоящее воспоминаний, растворенные в эликсире счастья, подаренном ему Ириной в таком количестве, что с лихвой хватило бы на несколько жизней. Жизнь прервалась, остановилась тогда, когда могла продолжаться. Не выдержало Иренино сердце — как выяснилось, слабое, ненадежное. Если б только знать раньше! Он ничего не пожалел бы, чтобы помочь этому сердцу окрепнуть, постарался бы оградить его от напастей. Но раньше ни о чем дурном не думалось: бьется и бьется — значит, все в норме. Кто будет просто так прислушиваться к этому биению? Редкие головокружения — они от духоты, Ирина убедила его в этом. Просто не выпалась, неделя была тяжелая. И так далее, и так далее. На все находилось маленькое обнадеживающее объяснение. Все они, как элементы мозаики, подобрались друг к дружке, создав иллюзию благополучия. Ирина говорила, что все хорошо, и Андреев верил. Верил ей всегда и во всем, никогда не позволяя усомниться. Жалел ее, когда она бледная сидела на постели, положив ослабевшие руки на колени. «Сейчас пройдет, сейчас отпустит». Он верил, что отпустит, — и отпустило.

Если бы только Вадька был рядом, когда ее не стало! Андреев справился бы, держал бы себя в руках. Но один в пустой двухкомнатной кварти-

ре, где любая вещь напоминала об утрате, он сходил с ума. Не убирал Иренин портрет с траурной лентой, и тот полтора года простоял на секретере, заслонив красивые, искусно сделанные неизвестным мастером настольные часы с ангелочками по двум сторонам, принадлежавшие Ирениной матери. Завод вышел из них, и они не произносили ни звука. Время из них вышло.

Нет, времени у Андреева теперь было предостаточно. Выручало только то, что существовала необходимость, обернувшаяся потребностью, ходить на работу, занимаясь делом. Это скрашивало большую часть дня. Однако в выдавшиеся свободные минуты, как прежде, он не поднимал с рычагов рабочего телефона трубку, не выходил через «нуль», как говорили некоторые в его окружении, на городскую линию, не звонил на завод, в бухгалтерию, и не просил тихим серьезным голосом: «Ирину Валентиновну, пожалуйста...»

Андреев становился напротив Ирениного портрета, капал прозрачное, немного жгучее лекарство для глаз и смотрел на него, проверяя, не становится ли зрение четче, не возвращается ли оно к нему. Слезы вытесняли капли из глаз, и Андреев не понимал, следует ли ему заново закапать лекарство или дожидаться следующего раза.

Когда ты выиграл свои первые соревнования по плаванию, мы подарили тебе велосипед «Орленок».

Голубоватая вода бассейна едва различимо качалась в кафельных берегах, словно замедлившись перед прыжком восьмерых мальчишек в резиновых шапочках и водонепроницаемых очках. Все ждали сигнала на изготовку. Трибуны переговаривались, и гулкие голоса разносились над водой. Ты стоял на дальней тумбе, сосредоточенно глядя перед собой, на колебавшийся разделитель, разграничивавший твою дорожку и дорожку ближайшего соперника. Тот парень был выше и казался гораздо старше. Я переживал, сможешь ли ты его одолеть. Тебя же соперники не интересовали, ты не поворачивал к ним головы. Нацеленный на результат — таким ты был всегда.

Свисток — и восемь гибких тел соскакивают с тумб, на какую-то секунду уходят под воду, затем выныривают и стремительно продвигаются

вперед. Нужно достичь противоположной стороны и вернуться раньше других. Стометровка. Каждый раз ты демонстрировал прекрасные результаты. Единственной сложностью было вынырнуть — тренер бесконечно бился с тобой, оттачивал этот элемент, потому что порой ты оставался под водой слишком долго, всплывал позже других, отставал, принимался нагонять, не распределял правильно силы. В день соревнований ты выскочил на поверхность пробкой и понесся вперед, чуть ли не на корпус опережая ближайшего преследователя, шедшего по четвертой дорожке. Ловко развернулся в воде, оттолкнулся ногами от бортика и поплыл назад, к финишу. Уже тогда я знал, что ты победишь, но волнение подхлестывало, и, поднявшись на трибуне, я закричал: «Давай, Вадик, поднажми!» Конечно, ты меня не слышал, но это было не важно.

Когда кончики твоих пальцев коснулись бортика, раздался длинный свисток, ты вскинул лицо, ища судью. Он поднял руку вверх. Победа.

Медаль, грамота — ты сразу передал их мне, попросил хранить. Я выложил их на самом видном месте, потом прибавлял к ним все новые. Появились другие медали, кубок по футболу. Как я тобой гордился!

За обещанным подарком мы отправились в универмаг. Секция с велосипедами располагалась на первом этаже, слева от входа. Ты подошел к выбору тщательно: рассматривал каждый экземпляр, прикасался к рамам, щупал покрышки, проверял ход педалей, прислушивался к звуку крутившихся вхолостую колес. Словно накануне проштудировал серьезный справочник и научился правильно выбирать велосипед.

«Вот этот, — ты указал на «Орленок» с темно-зеленой рамой. — Еще мне нужно круглое зеркало. И, если можно, звонок».

Звонок был серебристый, громкий. Ты важно вел велосипед к дому, держа за руль, а я взял и позвонил. Ты поглядел на меня так строго, будто я совершил серьезный проступок.

Дома ты долго возился с покупкой, подкручивал винты, регулировал положение сиденья, высоту руля. Занял весь коридор и никому не позволял пройти. «Уйдите, уйдите!» — шикал ты на меня с мамой, и мы пробирались по стеночке.

Ты проверил ниппели, наслюнявив подушечку указательного пальца и проведя им по клапанам. Подкачал камеры и наконец объявил: «Мам, я поехал!» — «А ужин?» — «Без меня. Нужно как следует объездить коня».

Уже опустились сумерки, а ты все катал кругами по двору, объезжал вокруг дома. Звонок дребезжал на кочках, громко тряслись в чехле, подвешенном под сиденьем, инструменты. Пришлось загонять тебя домой, иначе ты прокатился бы всю ночь.

Наутро ты снова проверял все соединения, натяжение цепи, упругость покрышек.

Когда ты юн, каждое лето — это отдельная долгая жизнь.

Иван Петрович был заядлым рыбаком. О рыбалке мог говорить часами, содержал завидную коллекцию снастей, для чего отвел отдельное помещение в своем доме. Ее он показал Андрееву в первый же день знакомства, и, хотя гость сразу признался, что в рыбалке ничего не смыслит, хозяин, не смутившись, завалил его массой терминов и баек. Одна беда сопутствовала Ивану Петровичу — выйдя на рассветную или вечернюю рыбалку, закинув удочки в воду и усевшись на раскладном стульчике, он сразу же засыпал. Редко возвращался с уловом, но, вероятно, не особо огорчался. Иван Петрович получал удовольствие от сборов, подготовки к походу: обычно к ближайшей речке или находившемуся чуть поодаль Холодному озеру. Холодным его прозвали за то, что входить в него могли только смельчаки. Даже в жаркую погоду вода в озере оставалась непригодной для купания из-за бьющих на дне сильных ледяных ключей.

Подробностями рыбалки Иван Петрович озадачивал Андреева при каждой встрече. Едва Андрееву доводилось заглянуть к бывалому рыбаку, он вновь и вновь оказывался в комнатке с уже упоминавшейся коллекцией, вместе с хозяином раз за разом просматривал альбом с фотографиями разных лет, где Иван Петрович позировал с удочками и различными рыбешками и рыбами, стоял по колено в воде или в лодке. Все это Андрееву вскоре наскучило, и он даже зарекся ходить к соседу, но желание поговорить, посидеть за столом в компании, выпить чаю с мятой пересиливало. Постепенно Андре-

ев приноровился переводить беседу с рыбной темы, увлекал хозяина каким-то своим рассказом. Давалось это непросто — Андреев больше любил слушать, нежели говорить.

У Ивана Петровича было то, от чего при переезде из Москвы Андреев отказался, — телевизор. В иные вечера, когда разговор не клеился, смотрели новостные выпуски. Гость усаживался напротив экрана за столом, под низко подвешенной лампочкой в темно-синем с золотыми оборками абажуре. Хозяин располагался полужа на узком топчане с чашкой в руках, с пакетом сушек или пачкой печенья. Диктора слушали молча, изредка обмениваясь мнениями, и Иван Петрович, по своему обыкновению, нередко задремывал. Андреев его не будил, макал в дымящийся чай сушку, обсасывал ее и смотрел в экран.

В тот июнь новостей было много, и большинство звучало пугающе. Андреев, давно не следивший за событиями в мире, мало что понимал. В один день независимость объявила Чеченская Республика, назвавшись Нохчи-чо. Через несколько дней состоялись выборы президента РСФСР и мэра Москвы. Президенты, мэры, премьеры — эти неподходящие, казалось ему, нашей жизни словечки молниеносно перекочевали в обиход из сводок международных новостей, которые Андреев когда-то вычитывал. От них разило чужой жизнью, посторонней реальностью. Свыкнуться с ними он не мог.

Голосовать Андреев не поехал. Не знал, за кого.

В конце июня началась война в Югославии.

Во всем мире развивались какие-то процессы, словно распрямлялась какая-то до сих пор незаметная пружина. Андреев как-то разом отделился от всего происходящего, выйдя на пенсию. Это прежде, ежедневно работая с новостными колонками и информационными материалами, волей-неволей вникал в контекст, ощущал себя хоть и не большой, мало что значащей, но деталью гигантского механизма, называемого человеческой цивилизацией. Поселившись же в Константиновке, он, словно винтик, выпал из предназначенного лично для него гнезда, упал куда-то, откуда его теперь не достать, и лежит затаившись, никому и ничему не мешая. «Отряд не заметил потери

бойца» — слова светловского стихотворения были как раз про него. Выпадение из общественной, как он называл ее про себя, жизни не огорчало его, не тревожило. В чистом воздухе подмосковного поселка, в его тихой, неторопливой жизни он просто-напросто растворился, став как будто бы частью пейзажа. Проселочная дорога, с одной стороны шумит дубрава, с другой простирается люпиновое поле, а за ним река; идут куда-то люди, несколько фигур. Одна из них — он сам. Какая именно — не имеет значения. Важен лишь пейзаж.

Чтобы нарушить тишину, которой было в достатке в его собственном доме, Андреев решил спросить у дремлющего Ивана Петровича его мнение относительно происходящего в стране и мире. Позвал его, но, сморенный теплым вечером и чаем с ложкой рижского балзама, рыбак пробурчал в ответ что-то невнятное и отвернулся к стене.

Андреев приблизился к фотографиям на тумбочке, давно привлекавшим его внимание. На них был изображен Иван Петрович с женщиной и двумя светловолосыми девочками. Вероятно, снимок проявили и отпечатали лет двадцать назад, когда Иван Петрович выглядел подтянутой, был хорошо причесан и отлично выбрит. (Андреев не терпел неряшливости в бритье и сам каждое утро тянулся за станком.) Женщина носила пышную, по моде, прическу, а в волосы девочек были вплетены ленты. Где они теперь — жена и дочери Ивана Петровича, что разлучило его с ними? Он никогда о них не заговаривал.

Как и Андреев, Иван Петрович провел в поселке всю зиму. Это он подсказал, где заказать дров, как и чем утеплить комнату. Помощь, оказанная им поселковому новичку, была неопределима, и Андреев даже думал, что без такого соседа вряд ли выжил бы — поджав хвост, сбежал бы в Москву при наступлении первых морозов.

Прошлым летом Иван Петрович долго вглядывался в сумрак андреевского колодца, ухал, слушал эхо, несколько раз опускал и поднимал ведро, скрипя растрескавшимся от времени воротом, пробовал воду на вкус, отчего-то морщился, сплевывал и вновь делал глоток ледяной водицы; рассматривал ничем не примечательное, по мнению Андреева, ведро, и после всех



странных манипуляций изрек: «Нужно рыть колодец в другом месте. Колодец на пять или шесть». Озадаченно почесал в затылке и устался на Андреева. Тот растерянно глядел в ответ, не зная, что сказать, не понимая, что привело Ивана Петровича к подобному заключению. Его мнение он принял во внимание, решив, что однажды и правда вырастет новый колодец, но пока обойдется тем, что имеет. Вода из него вполне Андреева устраивала.

Когда стемнело, я вышел за порог.

На широкой разбегенной дороге разлилась лужа, оставшаяся после недавнего дождя. Непогода стучалась в окна полдня, до самой ночи, и вдруг стихла, словно в одночасье усмиренная чьей-то невидимой и могущественной рукой. Установилась такая тишина, что делалось не по себе.

Выйдя из деревни, я взял направо, туда, где вскоре показался возвышенный над остальной землей крутой берег реки. Я дышал запахом влажных луговых трав. Разносилась повсюду полынь. Мелькали светляки, зажигающие со всех сторон от меня свои яркие lanternы. Скрипели сосны, расставленные, точно часовые, вдоль берега, шелестели листочками березы. В этой среднерусской ночи я чувствовал себя покойно и умиротворенно.

Целый мир отходил ко сну, а его место занимало ночное царство, полное своих неразгаданных тайн, едва уловимых вздохов, загадочных шепотков, тревожащих сознание звуков.

Где-то далеко, за рекой, протрубил паровоз. Я невольно вздрогнул и едва не оступился. Столичный поезд шел на юг, в Крым. Освещал путь фонарем, бросавшим отблеск на подступавший к железной дороге лес. Луч фонаря вырывал из ночного покрова, дававшего прибежище сотням тварей, свечение множества глаз, с недовольством или тревогой глядевших в сторону разбередившего их покой паровоза, отвлекшего от важных занятий.

Выл на луну, очистившуюся от полупрозрачных туч, одинокий волк, а в чаще неподалеку какой-то большой, должно быть, грузный зверь торил себе путь, треща ветками, переламывая их, на мгновения останавливаясь и затихая. Слышалось только его дыхание: напряженное,

тяжелое, глубокое. Потом зверь продолжал движение, но звук отдалялся — по счастью, он шел мимо. Кто знает, что было бы, встретить он меня в ночи на освещенной луной тропке.

Песчаный берег реки был высок — метра два до воды. Из песка вылезали и свешивались корни сосен. Словно щупальца морского гада, они тянулись в темноте к воде то ли от жажды, то ли из желания погрузиться в нее и прижиться в ней, променяв мир воздушный на мир подводный.

Пищало неугомонное комарье, подлетало к лицу, касалось десятками легких крыльев моих неприкрытых рук. Приходилось то и дело отмахиваться, отходить и становиться на новое место, но стая следовала за мной, не давая покоя.

Где-то совсем рядом, укрытые непроглядной тьмой, прятались ягоды земляники. Ее запах будил аппетит.

Стоя над темной рекой, я размышлял о щедрости нашей природы. Если ее не беспокоить, ей не перечить, не вторгаться в нее насильно, она будет дарить бесконечное и ни с чем не сравнимое ощущение единения с ней. Я вдыхал ночную прохладу, внимал звукам вокруг себя, и в этот момент мне представлялось, что нет на свете ничего родней, ближе этого мира, окружавшего меня в отдалении от удобного, теплого, привычного жилища. В безбрежной ночи, разлившейся по миру и стелившейся по водам тихой реки, я был бесконечно одинок, но одиночество несло мне радость.

Когда я одинок в собственном доме, ничто не способно увлечь меня, раскрасить мой день.

Почти неделю Андреев не возвращался к начатой тетради. Она лежала на столе, поверх книг, белела в ореоле пылинок в солнечном свете. Он утратил к ней интерес, как будто бы за раз выплеснул все, что долгое время бродило и вызревало в нем. Теперь разговору с самим собой, перенесенному на бумагу, он предпочел молчание и мелкие домашние дела.

Отправлялся в длительные пешие прогулки, ходил по поселку, заглядывая в каждый незнакомый уголок, с жадностью рассматривая дома, пытаюсь определить, какие из них старше прочих; присматривался к людям, старался угадывать их настроение; подслушивал разговоры у поселкового магазина, ожидая завоза свежего

хлеба. Отламывая по кусочку, съедал треть батона, пока возвращался к себе. После прогулок пил колодезную воду и не мог ею напиться.

Пресытившись изучением поселка, выходил за его пределы. Шел вдоль полей, на два с лишним километра раскинувшихся по обе стороны дороги от Константиновки до деревни Скопцево. Делал привалы, склонившись к придорожным диким цветам и рассматривая их. Наблюдал за соколами, парившими в небе и оттуда высматривавшими себе добычу. Птицы срывались вниз, точно камень с обрыва, на мгновение ока скрывались в высокой траве и вновь взмывали ввысь, держа в когтях пытающегося высвободиться грызуна.

В первом доме в Скопцеве жил местный почтальон Жуков, разбегавшийся на мотоцикле с коляской, державший гусей и выходивший из дома только в сопровождении верной овчарки по кличке Дуся. Он отчего-то с самой первой встречи проникся доверием к Андрееву, хотя местные говорили о Жукове разное, называли нелюдимым и даже злым человеком. Перекинуться парой слов с почтальоном Андрееву всегда было приятно. Обыкновенно он останавливался у околицы и ждал, когда Жуков выйдет к нему. Долго ждать не приходилось — он вечно посматривал в окно и примечал всех, кто приходит или проходит мимо. Мог выдать целую летопись, перечислив, кто вчера в каком направлении шел, что нес, кто составлял ему компанию и так далее. Андреев стеснялся спросить, для чего Жуков за всеми наблюдает, а для почтальона, похоже, это было в порядке вещей.

Наговорившись с Жуковым, узнав последние деревенские новости, Андреев отправлялся восвояси и каждый раз про себя рассуждал, что настанет момент, когда прогулки ему наскучат, приестся пейзаж. Вздыхая, он останавливался на полпути, смотрел на сосенки, рядом высаженные кем-то в поле. Возможно, это ветер донес досюда семена, но вряд ли он сумел бы забросить их в почву так ровно, с усердием и знанием землемера.

В один из дней предпринял полуторачасовой переход до Холодного озера, на самом деле называвшегося Краснознаменным. Вошел по колена в бодрящую холодную воду, посидел в тени раскидистой ивы, мочившей свои ветки в

озере, подремал на расстеленном полотенце, медленно сжевал взятый в дорогу бутерброд, прошелся вдоль берега, намереваясь обойти все озеро, но пришел к выводу, что оно слишком велико. Насыщенный лесным воздухом, его тишиной, возвращался домой с легким чувством, ободренный, даже счастливый; рассуждал о том, почему никогда прежде не тянулся к природе, к ее простоте и красоте, почему, постоянно пленяясь пейзажами за окном поезда или автомобиля, никогда не возвращался к ним, предпочитая сидеть в городе. Сейчас же все изменилось: никаким силком не заставишь его в город, не уговоришь, не убедишь. С другой стороны, полагал он, вероятно, это уже возрастное — желание скрыться в какой-нибудь глуши, наедине со своим одиночеством и мыслями. Их было много: одна трудней другой. Порой Андреев не знал внутреннего покоя. И все думал, думал...

Пришло письмо от сестры из Чимкента. Ее муж, Олег, серьезно болен, получил инвалидность и почти не покидает квартиру. Какая-то беда с ногами. Катя жаловалась, что жизнь с ним становится все невыносимей: он вечно раздражен, несносен, ругается на нее, а затем плачет и ищет у нее же утешения. «Хорошо, что дети выросли и не живут с нами. Им этого лучше не видеть. Им я не рассказываю. Когда заглядывают, Олег настроен благодушно, не выказывает признаков раздражения и злобы. Достается только мне».

Еще Катя писала, что без мужниной зарплаты, при одной пенсии по инвалидности, денег стало недоставать и она экономит как может, но дела в республике плохи у многих, и помощи ждать вроде как неоткуда. Уехать в Россию тоже нет возможности, остается прозябать.

Катя страдала бессонницей, встречала рассветы, весь день ходила разбитая. Ей казалось, что она не справляется с обязанностями на работе и ее скоро уволят, потому что людей на производстве уже сокращают, а значит, сократят и в конторе.

Письмо было длинным, мучительным для Андреева: он дважды откладывал его в сторону, чтобы переключиться на что-нибудь иное. Но все, что приходило на ум, это заброшенная, пылящаяся на столе тетрадь. Ее следовало завер-

шить, неожиданно решил Андреев, но прежде ответить Кате — она будет ждать.

Ответ сестре не складывался: он несколько раз перечеркивал написанное, рвал листки. Такое уже случалось с ним, когда он сочинял письма для Вадьки, и каждое рождалось в муках. Письмам сыну он уделял целые выходные, а утром в понедельник, по дороге на службу, бросал конверты в почтовый ящик у продуктового магазина. Каждый день проверял почту, ожидая весточек от сына. Андреев и Ирина, отложив все дела, читали их вслух, много смеялись, потому что Вадька выражался смешно, необычно. По правде говоря, Андреев завидовал легкости сыновнего слога, пытался его копировать, но безуспешно.

Он припомнил, как на фоне увлечения плаванием, возникшей любви к этому виду спорта, Вадька принялся слушать «Клуб знаменитых капитанов» и запоем читать морскую приключенческую литературу. Стивенсон, Сабатини, Сальгари, разумеется, Жюль Верн. Всех имен Андреев не помнил. Регулярное чтение вылилось в мечту сделаться писателем. «Я буду писать, а ты редактировать, — всерьез заявил Вадька как-то за обедом и вытащил из-под стола лежавший до сих пор на коленях атлас, раскрытый на развороте с Тихим океаном. — Видишь этот остров? Сюда, как Робинзон, попал Ламар».

Капитан Ламар, вымышленный Вадькой, был французским путешественником, чей корабль, естественно, попал в губительный шторм. Корабль выбросило на рифы ввиду необитаемого острова. Чудом капитану, единственному из команды, удалось спастись. Пару десятков лет ему предстояло прожить вдали от цивилизации. Вадька написал две главы и бросил писательство навсегда.

Когда в твоей комнате стало тихо, я приоткрыл дверь и заглянул внутрь.

На улице давно стемнело. Горит лампа. Ее света хватает лишь на половину стола, за которым сидит мальчишка двенадцати лет. Перед ним раскрыта тетрадь на железной пружине, лежат ручка и карандаш, линейка, которой он самостоятельно чертит поля, отступая четыре клетки — два сантиметра. Чуть выше тетради на столе помещается «Атлас мира» — небольшого

формата толстая книжка с цветными картами, относящимися ко всем материкам и океанам планеты. Мальчишка, занятый непростым делом — прокладыванием курса для корабля, командует которым бесстрашный капитан, постоянно сверяется с картами, требуя от самого себя предельной точности.

Сколько пройдет парусное судно, до того как вершитель судеб — строгий мальчишка, записывающий в тетрадь ход событий, давший имена всей команде, решит, что пора разразиться бурей? Удивительно: как это выходит, что в океане, названном Тихим, случаются ужасающие шторма?

Последний раз в порт моряки заходили больше месяца назад, на побережье Южной Америки. Капитан предоставил команде три дня на отдых, а сам с проводником из индейцев отправился в джунгли на поиски неизвестных науке насекомых. Энтомология была для капитана слабостью большей, нежели выпивка для его матросов. Более всего увлекали его разноцветные, ни с чем не сравнимые бабочки. Перед командой он, желая всех смеха ради озадачить, величал себя лепидоптерологом и долго хохотал над выражениями лиц матросов. Один только боцман примерно представлял, о чем толкует капитан, но тоже выводил на своем лице гримасу, чтобы угодить начальству.

Шторм разразился среди ночи: как соломинку, переломил фок-мачту, сбросил за борт вахтенных, направил пенящиеся потоки морской воды на палубу. Она сметала все на своем пути, сбивала с ног членов экипажа, разносила в щепки борта, уносила в пучину матросов.

Стихия бушевала несколько часов кряду, пока наконец не выбросила судно на рифы.

Капитан очнулся поутру на белоснежном, залитом солнцем пляже. Ничего толком не помня, не представляя, где находится, поднялся с земли и осмотрелся. В ушах стоял шум, подобный тому, какой слышишь, поднеся к ним большую морскую раковину. Ламар прошелся взад-вперед, полез на возвышавшуюся над местностью скалу, чтобы получше изучить окрестности, и обнаружил останки своего корабля примерно в полумиле от пляжа, на таком же белоснежном берегу. Чтобы добраться до обломков, пришлось продираться сквозь неподатли-

вые лианы, спутавшиеся в непроходимую паутину. Кричали вокруг на разные голоса птицы с ярким оперением. Они никогда не видели человека, а человек прежде не видел подобных птиц.

Среди деревьев царил полумрак, и когда капитан, наконец, вырвался из него, в глаза ударил яркий, обжигающий свет.

Это я тронул тебя за плечо, и ты проснулся. Прокладывая маршрут, насылая бедствия на моряков, ты так утомился, что уснул, положив голову на карту и отвернув лицо от лампы.

Когда я укладывал тебя спать, ты сказал: «Спокойной ночи, папа». Так закончилось это путешествие. Что случилось с капитаном, ни ты, ни я так и не узнали.

В пятницу в Константиновку пришла тридцатиградусная жара. Андреев с самого утра чувствовал неприятную слабость: ноги ватные, в голове шум, пульс стучит, пробивает испарина. От пытался отыскать укромный уголок, где было бы на пару градусов прохладнее, но летний жар проникал всюду. Некоторое время Андреев провел под небольшим навесом рядом с бочкой, полной дождевой воды, наблюдал за барахтающейся мухой: как ее оставляют силы, как замедляются ее движения, сопротивляющиеся скорой гибели, как она, должно быть, захлебывается и умирает. Он подумал о том, что ничего не знает о дыхательном аппарате насекомых, и решил почитать что-нибудь об этом, если сыщется подходящий справочник.

От застоявшейся бочковой воды тянуло легкой прохладой, а может, это ему только казалось. Он то и дело прикладывал к разгоряченным щекам смоченные в бочке руки, умывался. Облегчения это не несло, но он продолжал сбрызгивать себя водой, зачерпывая ее ладонью с поверхности, отгоняя мушиный труп к дальнему краю. Вскоре солнце выгнало его из-под навеса, и он перешел на другую сторону дома, прилег к узкой, качающейся скамье. Солнце отыскало его и здесь: сначала жадно набросилось на колени, стало подниматься выше, пока он не почувствовал, как на его живот кладут нечто невыносимо раскаленное. Затем свет ударил в глаза, и Андреев побрел дальше, с трудом переставляя непослушные ноги, забрался под старую яблоню, прилег, прислонившись спиной

к ее стволу. Здесь его поджидала свора мелких мошек, по-видимому, тоже изнывавших от уставившейся погоды и сразу же набросившихся на человека, скорее от отчаяния, чем от потребности чем-то в нем поживиться.

Отмахиваясь от мошкеры, Андреев ушел в дом, в сумрак своей душевной комнаты. Отпив из графина теплой противной воды, считал пульс, сверяясь с секундной стрелкой лежавших на столе часов. Намерил сто двадцать ударов.

Прилег на неубранную после сна постель, от-вернулся к стене, в бессчетный раз принялся разглядывать узоры на обоях, считать изображенные цветки. Поймал себя на том, что дышит сквозь приоткрытый рот. Дыхания носом не доставало. Андреев, словно выброшенная на берег рыба, хватал воздух и не мог им насытиться. «Что за новости?» — строго подумал он, садясь на постели и нащупывая кончиками пальцев тапочки под собой.

Он знал, что нужно сосредоточиться, попытаться восстановить сбившееся дыхание и, главное, не волноваться. Однако какая-то странная, незнакомая прежде тревога разлилась по всей грудной клетке, сдавила ребра, сковала мышцы. Тревога погнала его, с трудом соображающего, на веранду, залитую полуденным жаром. Он чувствовал, что теряет контроль не только над телом, но и над собой. Ему захотелось заплакать, как можно скорее пожалеть себя, по-детски сжаться в комок, лечь в каком-нибудь уголке, где холодно, где не слышно утомляющей трескотни кузнечиков, облюбовавших траву возле сарая, сразу за колодецем. Захотелось вытащить с колодезной глубины ведро ледяной воды и напиться ею вдоволь, облиться с ног до головы, вздохнуть свободно. Он даже двинулся в сторону колодца, но что-то шепнуло ему: «Не дойдешь...» Вот же напасть!

Наверное, нужно было что-то принять, какое-то средство, какую-нибудь таблетку, но он в этом не разбирался, да и, кроме бинтов, йода, каких-то желудочных средств, к которым он никогда не прибегал, и аспирина, в его аптечке ничего не было. «Что лечит аспирин? Все или не все?» Андреев порывлся в крохотном чемоданчике с лекарствами и не обнаружил ничего подходящего. По правде, за всю свою жизнь он выпил столько таблеток, что их легко можно было бы

пересчитать. Болел редко, в основном простудой, пару раз ангиной. И каждый раз в жару. Происходившее с ним сейчас не походило ни на ангину, ни на тем более простуду, а в груди что-то продолжало неприятно подрагивать.

Андреев вернулся к бочке с дождевой водой, чтобы освежить лицо, его повело в сторону, и он едва не рухнул на вымощенную камнем дорожку. Усиливавшаяся тревога сама погнала его к калитке, за пределы участка, по обочине дороги к соседнему дому, где жили Усачевы.

Нина заметила его с веранды. Она протирала сухой тряпкой только что перемытые банки, ставила их рядком на стол. Женщина издалека почувяла неладное, спустилась навстречу, взяла Андреева под руку и ввела в дом, где стрекотал, вращая головой из стороны в сторону, вентилятор, попусту гоняя по помещению обволакивающий, липкий воздух.

«Да что же с тобой?» — причитала Нина, усаживая соседа на стул, знающе расстегивая ворот его мокрой от пота рубашки, хватая за запястье и узнавая про него то, что он уже сам про себя знал. «Болит что? — суется вокруг него, с волнением и заботой спрашивала она, вглядываясь в его покрасневшее лицо, в расширившиеся, почти неподвижные зрачки. — Сердце, может?» Приложив руку к груди, проведя по ней, он тихо ответил: «Страх. Вот здесь». Язык во рту еле ворочался, и стоило невероятных усилий отвечать ей.

Нина не понимала, что за страх. Когда у самой прихватывало сердце (сердчишко, как она называла), страха не возникало. Наверное, потому что она научилась ладить с подобным состоянием, преодолевать его, находить с болезнью общий язык и гнать ее подальше прочь.

«Давай-ка я тебе корвалолу накапаю. Капелек сорок, а?»

Она кинулась к шкафчику над квадратным обеденным столом, застеленным клеенчатой скатертью, выхватила с полки какой-то пузырек, стала трясти его над чашкой, в которую потом долила воды. «На, пей разом», — протянула она приготовленное снадобье. Андреев поднес его к губам, в нос ударил резкий запах, он опрокинул в себя жидкость и проглотил.

Поначалу не почувствовал ничего, кроме легкого жжения в пищеводе, но вскоре его охвати-

ла расслабленность, веки как-то сами прикрылись, он ощутил покой. «Ну, полегчало, что ли?» — переживала Нина, присаживаясь рядом. «Вроде бы, — ответил он, подставляя лицо волне воздуха от вентилятора. — Мне вдруг сделалось так страшно. Сам не знаю отчего. Одна мысль: сейчас умру. Буквально прилягу к себе на постель и скончаюсь. Прежде такого никогда... Даже, знаешь, представил себе ритм своего сердца, как его рисует кардиоаппарат. Вверх штришок, вниз штришок, вверх, вниз... А вот раз — и кончились штрихи, осталась одна прямая линия. Как строка... Понимаешь, строка!» Нина серьезно посмотрела на него: «Какая строка?» — «Ну, понимаешь, тексты состоят из строк, и вот эта финальная строка в кардиограмме, черт ее побери, обязана быть заполнена — на ней должны быть слова!..»

Женщина сильно сдавила вену на андреевском запястье и проверила пульс: «Кажется, снижается».

Кардиограмма не выходила из головы. Он думал: «Как странно: вот ты живешь-живешь, и сердце живет у тебя внутри и чертит свои странные резкие рисунки, а потом вдруг, устав, перестает. Ириново сердце, наверное, тоже устало. Износилось прежде времени, много переживало... Вот и мое теперь сбой дает. Чем все кончится?»

Он отстранился от самого себя, своего положения и, как бы встав над всем этим, представил собственную смерть и свои похороны — глубокую яму и пару незнакомых людей на ее краю.

Нина загремела посудой — она не умела сидеть без дела, ее руки требовали работы. Соскабливая что-то ногтем со стенки кастрюли, она рассуждала: «Я в том году «Здоровье» читала, там умные вещи пишут. Так говорят, все от нервов. А сердце — это уже потом, во вторую очередь. Главное, нервы беречь. Ты бережешь? Я бы берегла, но с моим-то, — она кивнула в сторону двери, имея в виду мужа, — разве побережешься. До ночи ждешь, пока вернется. Потом пьяного разубаешь, раздеваешь, укладываешь. А он грубит и целоваться лезет. Иногда костылем своим по стенкам стучит, кричит: «Где моя заначка?» Все тайник какой-то ищет, который я якобы в стене соорудила. Думает, там

от него бутылки прячу. Делать мне больше нечего, что ли? Я тебе, Васильич, прямо сознаюсь: сил терпеть нет — выливаю его водку в раковину, а тару с глаз долой, выношу на помойку. Сдать бы хорошо, но лучше без лишней копейки, чем смотреть, как он, воротившись домой, догоняется. Ты вот что — поговори с ним как мужик с мужиком, а? У него-то все друзья пьяницы, они его в это болото всосали, а ты человек городской, москвич, интеллигент. Авось послушает, пить бросит... — Она немного подумала, поправила рукой прическу и прибавила: — Но что он тогда делать будет? На работу его не выгонишь. Да и кто ему, инвалиду, работать даст? Сиди себе при пенсии, доживай. Пенсионер-то он копейечный, необеспеченный. Ты ведь слышал, как он без ноги остался? А я тебе повторю. Все просто — по пьяни. Чем-то там резанул себя на лесопилке и продолжил пить. Начальства не было, тоже гуляло где-то. Он тряпкой обмотался и ходит, водку глотает. Кровь не текёт, да и ладно. А через пару дней тряпка завоняла — тьфу, вспоминать противно! Повезли в больничку. Гангрену нашли, ну и... С тех пор инвалид. Десять лет как. Отмечать в сентябре можно. Ты приходи, обмоём... — Нина прикусила костяшку большого пальца, задумалась. Влажные волосы налипли на лоб, капелька пота скатилась по щеке, замерла на скуле. — Ладно, глупости все это. Раз решил боженька, что быть ему пьяницей, так тому и быть».

Слабость прошла, тревога отступила. Андреев сделал несколько осторожных шагов — недавнее как рукой сняло.

Нина, наблюдавшая за ним и догадываясь, что его отпустило, подвела итог: «Так вот, в «Здоровье» писали, что всему виной невралгия. У тебя она точно есть, уж поверь». — «А в чем она заключается-то?» — «Да кто ж знает. Могу поискать, если надо». Улыбнувшись, Андреев махнул рукой.

Они еще долго пили чай. Он следил за стрелками на часах; Нина то бралась за вязание, то откладывала спицы и, сложив руки на груди, долго, немигающе смотрела на совместный портрет с мужем, сделанный в день свадьбы. Карточка помещалась в деревянной рамке под самым потолком между двух светлых окон. Любила ли Нина своего мужа по-прежнему или

жила с ним в силу привычки, Андреев не знал и выяснить не собирался. Ему казалось лишним интересоваться чужими жизнями, лезть не в свое дело. Чего доброго, разворошишь то, к чему прикасаться не стоит, причинишь боль человеку, поссоришься с ним. Ради чего? Чтобы обрести ненужное, в общем-то, знание?

Но гадать, как и чем живут Усачевы, ему было любопытно. Он мог выдумать все что угодно, сделать массу допущений и умозаключений, нарисовать перед собой такую картину их жизни, какую пожелает. И с этого момента, решил он, начинается творчество: нет нужды в точных фактах — нужен человек и некое представление о нем. Срисовывай и вдоволь прибавляй своих красок.

Допустим, есть на свете Нина. Что Андреев знает о ней? Она замужем, живет в поселке, ей едва за пятьдесят. Она полная, но в меру, часто собирает волосы в пучок, носит платья в горох, без устали хлопочет по хозяйству, содержит все в порядке и чистоте. Муж ее — инвалид и пьяница. Грубый, угрюмый, жесткий. Необъяснимая сила держит их вместе, сцепляет, не дает разойтись. Название этой силы Андрееву неизвестно, равно как и ее природа. Он знает о силе любви, но вряд ли это она сближает Усачевых. Скорее, дело в многолетней привычке, желании, чтобы все оставалось неизменным, как бы плохо оно ни было. Реальные перемены пугают человека больше, чем предчувствие, скажем, неприятного события. Проще терпеть негодящего человека, к которому был прежде сердечно привязан, чем уйти от него, начать жизнь чуть ли не наполовину заново, отрешиться от катастрофически огромного прошлого.

Нина, и в этом Андреев был совершенно убежден, до скончания своих дней будет носить платья в крупный горох и, может статься, в одном из них опустится под землю в деревянном ящике. У многих в памяти она останется такой: в гороховом платье, с высоким пучком из волос ячменного оттенка, в накинутой на плечи вязаной кофте, с ямочкой на подбородке, в молодости наверняка пленившей не одного мужчину. Никто даже не подумает представить ее иначе.

Однако творчество начинается там, где есть место даже самому невероятному допущению. По всей видимости, искусство и привлекает

зрителя и читателя самой возможностью и даже необходимостью подобного допущения.

Ранним утром, едва рассветет, Нина Усачева выйдет из дома в строгом платье, пока не очень смотрящемся на ней, потому что она еще не привыкла к такому фасону; в шляпке, в новых туфлях. У нее действительно был тайник, где она хранила все эти вещи, готовясь к побегу от мужа. Она не оставит записки — велика важность отчитываться перед ним. Пусть считает ее без вести пропавшей.

Нина откажет себе в удовольствии на минуту разуться и пройтись по росе. Это слишком привычное действие может нарушить ее решимость. Она пройдет знакомой дорогой до станции, не встретив никого из знакомых. Если и встретит, вероятность того, что ее узнают, слишком мала. Новая одежда, косметика сделали ее другим человеком. Она красилась, стоя над спящим мертвецким сном мужем, вернувшимся в три утра, и смеялась вполголоса. Нина знала, что он не проснется.

Подготовка к побегу доставляла ей удовольствие и скрашивала невыносимую серость нескончаемых будней.

Она стоит на станции, мнет билет и ждет электричку на Москву. Оборачивается на лесок за спиной. Через него от перрона ведет тропинка. По ней каждый день, опираясь на костыль, ковьялет опостылевший ей муж. В деревне за леском живут его друзья. (Хотя вряд ли собутельников можно так называть.) Они встречаются у одного из них. В поисках запропастившегося мужа Нина однажды оказалась в его жилище. От смрада, наполнявшего грязный, годами не проветривавшийся дом, ее едва не вырвало. Она выскочила на воздух, зажав рот обеими ладонями, с расширившимися от увиденного бытового кошмара глазами и поспешила восвояси. Многие недели после, когда муж возвращался ночью домой, она чувствовала, как он приносит на своей одежде ту невыносимую, омерзительную вонь... Но уже лежала в тайнике дорогая губная помада — заграничная, еле добытая, чулки, золотистые аккуратные часики, туфли на невысоком каблучке. Предстояло еще многое раздобыть и купить, но в Нине уже поселилось сладостное предвкушение побега, освобождения.

Можно было выдумать Нине самую фантастическую судьбу, свести ее в Москве с прекрасным человеком — прямо на вокзале, по приезду. И Андреев почти сочинил эту судьбу полностью, даже представил, как вернется к себе, раскроет тетрадь и... Нина выронила из рук кастрюлю с рисом. Вода и мокрые зерна, как краска на холст, хлынули на чисто выметенный деревянный пол, крашенный ярко-коричневой краской. Хозяйка в огорчении затопала ногами, уперла руки в бока и сказала: «Ну ты только подумай! Последний рис в доме!»

Когда гости разошлись, она устало опустилась на стул, уже не думая о том, помнется ли новое, специально купленное к этому дню платье, подняла бокал недопитого вина, сделала маленький глоток и обратилась к мужу, курившему в открытое окно:

— У Кузнецовых такая замечательная девочка, правда? Хоть замуж выдавай!

— И выдадут года через два. Помяни мое слово.

— Сколько же ей сейчас?

— Шестнадцать. Выскочит, как ты за меня, сразу после школы.

— Кажется, ты чем-то недоволен?

Он затушил сигарету в заполненной бычками пепельнице, налил себе водки и залпом выпил.

— Все еще делаешь вид, что мы с тобой счастливы? — спросил он, хрустя маринованным огурцом. — Не знаю, как ты, а я нет. Чувствую себя чужим в этом доме.

— Ты специально выбрал день, чтобы сказать об этом?

— А ты хотела, чтобы я подождал до полуночи? Золушка превратится в тыкву или как там было?.. Тебе тридцать, мне через месяц тридцать восемь. Между нами зияющая пропасть. Твои бесплодные попытки заштопать ее ненадежными нитками просто смешны. Отпусти меня, и весь разговор.

— Разве я держу?

Он нервно задвигал подбородком, подбирая слова.

— Куда я, по-твоему, пойду? У нас общая квартира, пора разъезжаться, а ты все тянешь. Это я, что ли, твержу как попка, что на размен такой хорошей квартиры ничего достойного не

предложат? Да я хоть сейчас в Бирюлево, на край света, к черту на рога!

— Знаешь, — не выдержала она, — по крайней мере ты живешь в дальней комнате, а я ради тебя согласилась на проходную и теперь каждое утро просыпаюсь от того, как ты шаркаешь своими дурацкими тапочками. Ты как будто нарочно шумишь, чтобы я не спала.

— Тоже мне жертва! — воскликнул он, наливая еще одну стопку до краев. — Думаешь, мне приятно каждое утро смотреть на твое невыспанное лицо, на эти твои нерасчесанные волосы? Постыдилась бы в таком виде появляться передо мной!

По батареем яростно застучали — кому-то из соседей помешал их громкий разговор.

— По-твоему, — она перешла на полупшепот, — я должна подняться за полчаса до тебя, навести марафет, чтобы ты, глядя на меня, не давился своим завтраком?

— А что, слабó? Слабó, конечно. Неряха какая-то!

— Кто бы говорил! Ты вон себе пятно на рубашке посадил и ходишь так целый вечер.

Он опустил взгляд и обнаружил с левой стороны, возле кармана, небольшое пятно томатного соуса.

— Это все твое мясо с подливой! — ответил он, снимая рубашку и бросая ее на пол. — Могла бы сказать, чтобы я сходил переодеться.

Еще чуть-чуть, и ее затрясло бы от обиды, от ощущения несправедливости. Весь день приходилось делать вид, что они все еще любящая пара, что у них все хорошо. Он нежно целовал ее в щеку, чтобы никто из гостей не заподозрил, что в день своего тридцатилетия она несчастна. Целовал, а сам вполголоса сообщал: «Какая комедия, как противно терпеть!» В самый разгар застолья зашел разговор, которого она больше всего опасалась, — о детях. «Что за бестактность, — думала она, спрашивать, кто и когда планирует заводить детей! А если люди не планируют?» Со скромной улыбкой, потупив глаза, она терпеливо отвечала, что у них с мужем все идет по плану и никому не стоит волноваться на этот счет. Его мать, никогда ее не любившая, наклонилась к ней и прошептала: «Ты уже почти старуха, а все никак не родишь мне внука». Хотелось метнуть в нее тарелкой с недоеденной сельдью под

шубой, как назло, сегодня сносно получившейся. Хотелось воткнуть вилку в руку, легшую на стол. Вцепиться в волосы, обильно политые душистым, отвратительным лаком.

Ее родители перебрались в другой город и не смогли приехать на юбилей. Пришла лишь телеграмма, а потом раздался телефонный звонок. Она была самым одиноким юбиляром в этот день. Самым несчастным, несостоявшимся, полным несбывшихся надежд.

Год назад они были в суде. Судьи выслушали их доводы и засомневались, что следует сразу, то есть немедленно, решить вопрос о расторжении брака. Ее муж даже сказал, что между ними давно, больше полугода нет супружеской близости, и это заставило судей нахмуриться. Он врал, конечно, — приходил пару раз в неделю, без спроса залезал к ней под одеяло, и она покорно ждала, пока он перестанет елозить на ней и отвалится на бок. Сама не знала, зачем это терпит. Считала себя полной дурой, но в глубине, несмотря ни на что, теплилась надежда, что все еще может измениться.

Могло ли измениться сложившееся положение вещей, когда они спали и, по сути, жили в разных комнатах, готовили каждый себе, завели график отдельного просмотра телевизора, график отдельной стирки (впрочем, она стирала за него, не в силах вынести, что грязная одежда копится неделями). Жизнь была невыносима и сделать ее более сносной не получалось: родители далеко, а ей не хотелось бросать большой и родной город; подруга обзавелась двумя детьми, и просить у нее маленький уголок для себя было неудобно. На то, чтобы снимать жилье, не хватило бы зарплаты младшего научного сотрудника. Или хватило бы, но пришлось бы жить впроголодь.

Снова идти в суд она не могла. Пережитый в прошлый раз стыд пугал ее. Она знала, что в этот раз стыд будет еще больше, громче, несносней. Хотя, представляя, как расскажет судьям правду о муже, она испытывала облегчение. Часто рисовала перед собой эту картину и так коротала дни. В иные из них, пока его не было дома, сидела в его комнате и рыдала. Болтал телевизор, свистел на кухне чайник, а она не могла унять слезы.

— Почему бы тебе не пожить на даче у Кузне-



цовых? — неожиданно предложила она, подбирая с пола рубашку и унося ее ванную. — А что? Там можно жить и зимой — тепло, все удобства внутри. Саша твой друг, он не откажет.

— Что я ему скажу? Что моей женошке потребовалось пожить одной и поэтому она предложила мне выметаться к чертовой бабушке?

— Ты человек смекалистый, сообразишь что-нибудь. Я в тебя верю.

Последние слова она наполнила таким ядом, что ему стало не по себе.

— И еще: ты слишком много пьешь. Я не потерплю этого в своем доме, — резко сказала она, видя, что он снова собирается налить. — Ложись спать, и чтобы больше ни звука до утра.

Он опешил. Супруга враз преобразилась, стала другой: испарились ее вечная мягкость, податливость, склонность к соглашательству, неуверенность в себе. Ему явилась взрослая, знающая себе цену женщина.

— Да чего ты сразу... Да переживем все это. И разведемся. Я в один район, ты в другой. Хочешь?

— Иди спать, я как собака устала. Завтра, если пожелаешь, снова подадим на развод. Нечего откладывать неизбежное и тянуть кота за это самое, правда?

Он кивнул.

Когда она легла спать и погасила в своей комнате свет, он, запершись у себя, сидел на подоконнике и курил одну сигарету за другой. Хмель как рукой сняло, сон не шел, и он все думал о ее последних словах: о замаячившем разводе, о скором переезде бог весть куда, о неизвестности, ждущей обоих.

И снова пробудилось раздражавшее его все больше желание — взять ручку с другой пастой и править, править, править себя. Даже переписать написанное. Он начал перечитывать тетрадь с первой страницы, порывался разорвать ее: созданное нисколько его не удовлетворяло, а напротив, злило, мучило. «До чего же слабо, до чего плоско, косноязычно, искусственно, в конце концов! — Андреев раздосадованно хлопнул по тетради. — Нет, ни за что больше не прикоснусь, не стану марать бумагу. И без меня марателей пруд пруди. Ничего, стерпит мир мое отсутствие». Походил вокруг

стола, поймал себя на мысли, что косится на распахнутую тетрадь. Приблизился, наклонился, цепляя очки на нос, стал вчитываться. «Нет, все не так плохо, как я подумал сначала. Это слово вычеркнуть, это переставить. Этот абзац отвлеченный, мешает теме. Жалко, надо пристроить его куда-нибудь еще... Нет, к черту! Вымарывать так вымарывать! Что пожалеешь ты, не пожалееет редактор. Надо оставить ему меньшее поле для самовыражения. Вообще шансов не оставить — написать идеально».

Успокоился, начал переписывать в новую тетрадь. Поразились, как много лишних слов в его текстах и как просто отрешиться от них, подобрать замену. Видел места, где требовалось сказать больше: представлял себя читателем и старался угадать, чего недостает. Текст преобразился, становился объемней, значимей, как казалось Андрееву. Пожалуй, впервые он ощутил вкус того дела, которым занимался. Познал его прелесть, а вместе с тем осознал, сколько сил оно может отнять.

Забыл про обед, про поливку огорода, про привычный дневной сон. Его не сморило, как бывало, в районе двух, не потянуло положить голову на подушку. Занятие захватило его настолько, что он очнулся только около семи вечера. Ломило спину, он уже плохо соображал; раскрипелся стул, недовольный, что на нем так долго сидят.

Андреев вышел на улицу. Долго и возбужденно ходил по участку, наклонялся к огурцам и не мог взять в толк, что с ними не так. А они умирали от жажды.

Не слышал, как его окликнула Нина, спрашивавшая о самочувствии, не видел, как прошел мимо и бросил на него взгляд Иван Петрович, истосковавшийся по обществу и давно ждавший Андреева к себе. Утром он наловил карасей, и ему не терпелось похвастаться. Видя, что Андреев как-то странно, необычно себя ведет, промолчал: «Лучше потом...»

Сильными движениями Андреев крутил ворот колодца, внизу, на воде, слышались всплески. Он пил колодезную вкусную воду крупными глотками, заливая рубашку, обливая босые ноги, чавкавшие в благодарной, орошенной траве. Насыщенный, поставил ведро и что-то запел себе под нос, какую-то услышанную накануне

мелодию: «Ночное такси, ночное такси...» Такси, если верить песне, должно было сохранить любовь исполнителя и спасти его.

Спустя полчаса он был у Ивана Петровича, пил чай вприкуску, переняв эту привычку у хозяина, с каким-то особенным восторгом следил, как тот разделывает рыбешку с золотистыми плавниками: скребет чешую, потрошит внутренности, укладывает карасиков рядком на деревянной доске. Иван Петрович сосредоточенно сопел, шмыгал носом, по-ребячьи пытаешься загнать обратно в ноздрю мутную каплю. Андреев чувствовал себя уютно в его доме. Здешний уют был особого толка, не такой, как в его собственном жилище. Дом светлей, больше, просторней. Во всем здесь обнаруживалась своя система: в расстановке мебели, в расположении предметов на полках, в крючках для одежды и полотенец. Хозяину стоило протянуть руку, как он сразу доставал до нужной ему вещи. Андреев считал, что порядка в его доме не меньше, однако обстановка у него строже, угрюмей. Оттого, наверное, что он сам обладал этими качествами. Поставь его рядом с Иваном Петровичем, так Андреев покажется сущим бирюком. Это не тревожило Андреева: он принимал этот факт, держал его в уме.

«Если бы заранее знать, как жизнь повернется, — заговорил наконец молчавший весь вечер хозяин, зажигая конфорку, ставя на нее сковороду и наливая масло. — Как моя повернулась — ни один писатель не придумает. Я, может, потому и читать бросил, что скучно. Про рыбалку читаю, про строительство, про прочие важные предметы — все в жизни сгодится. А эти Толстые, Чеховы, кто у нас там еще... Не по мне. Не про меня. — Он подержал караса на ладони, словно взвешивая, и уложил на сковородку. За первой рыбой последовали ее сородичи. — Говорил ли я тебе, где родился? На Урале, в Челябинске. Слышал, наверное, про наши заводы. Грязнее города не выдумаешь. А сейчас, поди, там еще хуже. Во время войны у нас там Танкоград был. Тридцатьчетверки собирали. Мы с пацанами все вокруг вертелись, смотрели, какие они, эти танки. Но не про детство сейчас... В институт поехал поступать в Свердловск. Завалил экзамен. Полгода на стройке, потом в армию. Ничего, служил, как все, взводным стал.

Командиры наши — все на фронте побывали. Расспрашивали их, что да как, а они молчок. Мало говорили, неохотно. Хотя некоторые, бывало, шли на разговор. Один был знаком с маршалом Рокоссовским. Вот про него многое порассказал, а про себя ничего. — Иван Петрович приподнял вилкой карасика и проверил, хорошо ли он прожарился с той стороны. — Вернулся в Челябинск. И, не поверишь, все как в сказке — встретил ее. Жену свою будущую. Она студентка была, с филфака в Москве. Приехали к нам в экспедицию. Не к нам то есть, а проездом. Мотались по деревням, собирали предания, разговорки... Что-то такое, я в этом не силен. Я на вокзале ее увидел — и сразу к ней. Здравсте, я Иван, демобилизовался, прибыл домой, давайте знакомиться. И так легко у меня это вышло, что я сам диву дался. Она красивая была до невозможности. Локоны золотистые до плеч, губы как будто чуть припухлые, глаза ясные, светло-голубые. Полюбил ее раз и навсегда. Ты и сам погляди на нее, — он небрежно махнул в сторону уже знакомых Андрееву фотографий, — тут она старше, с детьми нашими, но все еще не растеряла красоты своей. — Он ждал, что гость что-нибудь скажет, но тот молча смотрел в сторону снимков, не признаваясь, что даже в очках со своего места видит их недостаточно четко. — В общем, обменялись адресами, полгода переписывались. Живу, работаю, а сам томлюсь: нет мне, чувствую, жизни в родном городе, надо в Москву ехать. Родители отговаривали. Мать плакала, конечно, говорила, что нынче в Челябинске все условия для счастливой жизни есть, если хорошо устроиться. Но остаться я не мог — сердце мое, не спросясь, уже в Москву перебралось. Ну, и я вслед за ним. — Иван Петрович перевернул рыбу, масло зашипело, забрызгало, попало ему на лицо, а он не придавал этому значения. — Заканчивала она свой институт, заканчивала, а я то тут поработаю, то там. Сложно в Москве обустроиться, если ты сам из других мест. Кантовался как мог, деньги на черный день откладывал, ел мало, а чтобы голод приглушить, гулял на свежем воздухе. Правда, это не помогало... Часть денег на нее тратил: в кино водил, а она меня в музеи. Честно скажу: не любил я всего этого — картин, статуй всех этих, но ради нее терпел. Можно сказать, разбираться

отчасти стал. Архип мне нравился. Куинджи вроде. Красиво рисовал, ничего не скажу. У меня в спальне даже репродукция висит... — Он отпил воды из жестяной кружки, прополоскал горло и сплюнул в раковину. — Женихались около года. Дважды предложение делал, веришь? Дважды отказала. «Хороший ты человек, Ваня, — говорит, — но не взрослый еще». Я все допытывался, чем не взрослый, что со мной не так, а она только улыбалась и целовала меня. Вскоре удача ко мне лицом повернулась — устроился на хорошее место. Взяли водителем в милицию. Следаков возил по местам преступлений, иногда генерала на совещания... На третий раз я ей твердо сказал: «Или выходи за меня, или расходимся навсегда». Сработало. Свадьбу сыграли. Свезло: поселились в двухкомнатной квартире на Цветном бульваре, где ее бабка доживала. Тихая была женщина, добрая. Два года с нами провела, а потом померла. Как раз Татьяна первеницу ждала. Катюшей назвали. А вторую, что через год родилась, Леночкой. Жили счастливо и, как говорят, душа в душу. Но выяснилось, что никудышный я знаток душ, хоть и со следователями дружбу водил. Не предвидел, чем жена моя живет и о чем думает. — Он снял сковороду с огня, положил каждому по две рыбки на тарелку, отрезал по огромному ломтю серого хлеба. — Что ж, угощайся. Чем богаты, тому рады. Улов собственный, значит, вдвойне вкусней. — Андреев склонился над тарелкой, вдохнул аромат жареной свежей речной рыбы и от удовольствия зажмурился. — Ешь, ешь, — улыбнулся Иван Петрович, но сам к еде не притронулся. Поставил локти на стол, подпер ладонями голову и продолжил рассказ. — Возвращаюсь однажды домой раньше положенного часа на два. Все как в анекдоте, только мне не смешно... Сидит на моей кухне голый мужик. Да что мужик, мальчик почти. Намного нас с Татьяной моложе. И она с ним — папироску курит. Прежде никогда не курила. «Вот это да, — думаю, — страна чудес!» И, входя в кухню, без обиняков спрашиваю, где наши дети. Она, будто ничего не произошло, говорит, что к матери отвезла. Вот ведь гадина какая! Слов больше не трата, взял я того паренька под локоток — щупленький такой, как цыпленок-недоросток, дрожит весь — и в коридор вытолкал. Дверь

входную распахнул и вышвырнул его к чертовой бабушке. Он стоит, несчастный, не знает, что делать. Инструмент прикрыл, шуруповерт свой гребаный, и хнычет что-то про одежду. Татьяна подала через порог ему вещички, а я дверью так хлопнул, что краска от нее в нескольких местах отколупнулась. «Шалава ты, Танька», — говорю, а дальше молчок. Переехал к дочкам в комнату, на полу спал. Они беспокоятся, свои постельки предлагают, говорят, будут вместе спать. О спине моей заволновались, знали же, что и так целыми днями баранку кручу-верчу как проклятый. — Иван Петрович отхлебнул давно остывшего чая, отломил вилкой кусок рыбы, пожевал задумчиво, обернулся на фотографии. — Не знаю, зачем рассказываю, но ты уж будь другом, дослушай. Нахлынуло на меня сегодня, одному не справиться... С Татьяной мы не разговаривали ровно два месяца — от одного двадцать пятого числа до другого. Всякое я передумал, ночуя в комнате у девочек, разные планы понастроил, разные решения напридумал. И что уходить надо, и что выгнать ее стоило бы, и что такая она сякая, и что девочек жалко бросать. Кому на пользу безотцовщина? Злюсь, в общем, думаю все это, а сам знаю: люблю ее по-прежнему, не меньше. Хоть и обидела меня, рану нанесла. Я к ней: мол, прощаю тебя, давай жить вместе, как прежде, а старое забудем. На шею мне бросилась. Я же стоял не двигаясь, как будто мне неприятно, а сам чуть не рыдал от счастья. Вот так жизнь в первый раз хлопыстнула мне по башке. — Он отодвинул от себя тарелку. — Как карасики, годятся? Вижу, что годятся. Лицо у тебя, Василий, довольное. Уж извини, что исповедью аппетит подпортил. — Андреев сделал знак рукой, что все в порядке. Он слушал рассказчика жадно, пытаясь запомнить каждое слово, интонацию, услышать самую его речь. — Так, в добром мире, прожили еще года три. Изводился порой, особенно когда по службе задерживался: как там Татьяна в мое отсутствие себя ведет? Не скажу, что не доверял, но ведь осадок скверный остался. Шрам на всю жизнь. Доверие такая вещь, что сразу не восстановишь, его завоевать нужно. Не скажу, что пытался ее контролировать, каждый шаг ее узнавать. Не было такого. Все же верить ей привык. Да, видно, зря. Порой кажется, проще незна-

комцу довериться, чем другу или родному человеку. И вот снова, как в анекдоте — для кого смешном, для кого горьком, — возвращаюсь за полночь (генерала тогда на дачу отвозил). И что вижу? — Иван Петрович застучал пальцами по столу. Андреев невольно съежился. — Тот щуплый снова в моей квартире, да уже не один — с товарищем. Сидят за столом по обе стороны от Татьяны. Студентики, черт бы их побрал. Весело им, смехом заливаются. Я как увидел это из прихожей, щетку для одежды схватил и в них запылил. Жаль, не попал, только стекло выбил. Что тут началось! Забегали, заорали. Щуплый даже кричал, что караул, убивают. Я его за грудки хватаю и со всей силы спиной об стену: «Нори! Милиция уже тут!». Он аж захрипел. Татьяна пытается его спасти, а я крепко держу, душу из него вытрясаю. Чувствую, что второй ее любовник меня по почкам, по почкам, но я такой злой, что боли не ощущаю. Беру и толкаю щуплого на подельника. Валятся оба на пол и с тревогой на меня смотрят. У второго кровь из носа хлещет, а щуплый бока трогает, ребра считает. Оба в чем мать родила. Такой срам, Василий... И тут я понял: все кончено. Ушел я в комнату к девочкам, которых Танька снова к матери спроварила. Отрешился от всего, сижу на полу. И мне все равно, что будет дальше. Слышу, как говорят три голоса, видимо, собираются. Потом стук, входит Татьяна: «Я уезжаю к маме. А ты подумай над своим поведением и молись, чтобы они заявление на тебя не написали!» Ничего ей не ответил, только лицо отвернул. А там, на полке, спят куклы моих дочерей. Одна такая златокудрая, как Танька. Взял ее на руки, глажу по жестким куклиным волосам и повторяю: «Таня — дрянь, а ты хорошая. Таня — дрянь...» Не помню, сколько так времени провел. Лежу на постели Катькиной, себя жалею. Все никак в руки себя не возьму. Расклеился совсем...»

Иван Петрович умолк и набросился на остывшую рыбу. Мощно работал челюстями, жевал мало, проглатывал большими кусками, запивал водой. Собрал с тарелки и скатерти все крошки в пригоршню, забросил в рот, стал как будто бы рассасывать, смаковать.

Андреева поразила откровенность собеседника. До сегодняшнего вечера Иван Петрович представлялся ему безобидным, многословным

добряком, на уме у которого были только разговоры о рыбалке, погоде, строительстве, затеваемом кем-нибудь из соседей, грибных местах, где он сам никогда не появлялся, но о которых знал на удивление много. Теперь же Андрееву открылся поразительно искренний, чистый, страдающий человек — не мягкотелый, с извечной ленцой в движениях сосед, а человек с непористой, тяжелой судьбой. Он ясно видел боль, стоявшую за словами рассказчика. Сопоставлял, подойдя поближе к снимкам, того, прежнего, Ивана Петровича с нынешним, вглядывался в лица Татьяны, в лица двух дочерей, до невозможности похожих друг на дружку, смотрел на огромное колесо обозрения за спиной изображенной на фотографии семьи. Сколько горестных кругов одиночества проделал на этом чертовом колесе Иван Петрович до того, как стать собой сегодняшним? Какие, должно быть, невероятные, разрушительные бури бушевали в его душе тогда, через какие метаморфозы ему пришлось пройти! Нельзя было вообразить, чтобы он вновь сошелся с той женщиной, простив ее; трудно было представить, что он нашел после нее другую. Андреев боялся заговорить, оторвать хозяина от мыслей, но все же с осторожностью поинтересовался, что было с ним дальше. А было вот что.

За разводом последовал размен. Иван Петрович, молодой, еще полный сил мужчина, остался один. Избегал новых знакомств с женщинами, сторонился их общества. Кое-кто проявлял к нему интерес, но он делал все, чтобы его погасить, и вскоре за ним закрепилась не очень приятная репутация — то ли женоненавистника, то ли кого похуже. Но все сплетни за спиной он терпел. Продолжал жить один, часто меняя увлечения. Одно время пил, но, беспокоясь о здоровье, преодолел желание каждый вечер угощать самого себя водкой и торчать перед телевизором. Он признался, что бывали вечера, когда напивался до беспамятства, а поутру, открыв глаза, долго не мог сообщить, на каком свете находится.

«Все чаще хотелось оказаться на том, чтобы больше не было этой жизни. Но раны затягиваются, ко всему привыкаешь. Я узнал, что здесь, у нас в Константиновке, продается старый дом. Расстался с московской квартирой, перебрался

сюда. Ты и представить себе не можешь, как выглядел этот домишко лет пятнадцать назад. Все, что сейчас видишь, — моих рук дело. Строгал, пилил, искал материалы, сколачивал, красил, грунтовал, шпатлевал. Не один год потратил. Деньги, они разом не даются — покупал что-нибудь с полочки, экономил. Теперь мой дом — моя крепость, — он впервые за весь вечер засмеялся, — и я горжусь тем, что сделал все сам. Если что сломалось — моя вина, я недоглядел. Некого винить, кроме себя. Так и с жизнью моей теперь — никто за нее не ответствен, кроме меня, никто в нее не влезет без моего ведома. Да, долго привыкал к переменам. Работал здесь, в поселке, в разных местах. Если б не руки, осталось бы без копейки. Там покосил, тут отвез, там отремонтировал, тут подлатал — годы без выходных, зато могу сказать, что да, считаю себя вполне счастливым. У меня взрослые дочери. Они несколько раз приезжали. Я уже дед, у меня два внука. А ты думал? Подрастут, буду приглашать погостить. Дом-то, согласишься, неплохой. А умирать соберусь — имущество им отпишу. Пусть пользуются, пусть хранят. Хотя, говорят, молодежь загородной жизнью не интересуется. Не понимает дачи как явление, не признает. Время покажет, как все будет. Может, останется мой дом стоять заколоченным, после того как меня самого заколотят. Тут, знаешь ведь, кладбище у нас есть. Вот там хочу лежать. А что? Тихо, лес, птицы поют, всегда тенисто. В жизни, бывало, плавился как на адовой сковородке, а тут хоть в прохладе побыть.... Так ты скажи, рыбка ничего, не зря из речки таскал, а?»

Разошлись за полночь. Андреев шел к себе оглядываясь — позади вспыхивал и гас кончик папиросы. Иван Петрович курил и громко вздыхал. В ночи чудилось, что на всю Константиновку. «Какой удивительный и странный вечер! — думал Андреев, отходя ко сну. — Тут Петрович, пожалуй, прав, что жизнь порой увлекательней всякого книжного вымысла...»

Когда врач повел тебя по длинному коридору, я прошептал: «Только бы обошлось, только бы...»

Жутчайшая из всех ангин. Горло, пронзенное тысячей иголок, непроходимый комок, не дававший сглотнуть. Разбудил нас среди ночи,

позвал слабым голосом. Я всегда спал крепко, но услышал твой зов. «Мне плохо, — сказал ты. — Я что, умираю?»

Горло заболело с вечера. Решили — обыкновенная простуда, с кем не бывает. Но боль разрослась в считанные часы, из маленького тревожного островка превратилась в сотрясающийся материк, стала невыносимой, кошмарной. Ты не мог уснуть, терпел, отчего-то боялся нас будить. Смелый, сильный мальчик. Не хотел нас огорчать. Не хотел, чтобы мы ругались из-за двух эскимо, купленных на сэкономленные деньги. Это ничего, Вадька, это не из-за мороженого.

Вызвали «скорую». Ждали долго, может быть, вечность. Твое лицо горело, жар отнимал все силы и желание говорить. Не отвечал на наши вопросы, только медленно закрывал и открывал глаза. Сидел в кресле — маленький, несчастный. Еще раз повторил, что, наверное, умрешь. Мама попросила не говорить глупостей. Ерунда, говорил я, сейчас все лечат, а про себя думал: «Все ли? Точно ли? Да где же врачи?!»

Мама обмотала твою голову холодным мокрым полотенцем. В другой раз ты бы обязательно посмеялся над моей шуткой о чалме, но тогда даже не взглянул на меня.

Звонок в дверь. Наконец-то бригада. «Надо везти в больницу». — «Я с вами».

Едем по ночной Москве, по широким пустынным проспектам, мимо редких горящих в домах окон. Я рассказываю тебе о том, как сам болел в детстве, зимой сорок первого.

Возвращался из школы с приятелями, шли мимо трамвайных путей. Запоздалая воздушная тревога, а за ней свистящая, падающая прямо на нас бомба. Разорвалась перед носом трамвая. Тот встал на дыбы, закричал искореженный металл. Дым и огонь. От кабины ничего не осталось. Людей выбросило из окон на проезжую часть. Помню, лежит в плавающем снегу женщина: кричит, а голос с каждым мгновением все тише, неслышнее, и вот она уже просто раскрывает рот — черное беззвучное отверстие. Я смотрю на нее и не могу сообразить, что с ней не так. Осознание приходит не сразу. Слишком короткое туловище. Оторваны ноги. Их нигде не видно. Обрубки истекают бурой дымящейся кровью. Меня начинает тряс-

ти, отбегаю в какой-то закуток за табачным киоском. Меня тошнит еще и еще. Чувствую, как поднимается температура. Оставаться на морозе не могу ни минуты. Шатаюсь, как пьяный, бреду к дому. Тут недалеко, за перекрестком. Бегущий навстречу милиционер на ходу спрашивает, все ли в порядке и, не останавливаясь, спешит к горящему трамваю. А я слышу, что где-то еще, неподалеку, падает с коварным отвратительным свистом другая бомба. На дом, на крышу, на квартиры, на людей. Немецкий летчик сегодня невероятно удачлив: прорвался к городу, миновал зенитки и мечет бомбы без помех. Может, он не один, может, их сразу несколько. О чем думает летчик, бомба мирных жителей? Быть может, о родном доме. И молится, чтобы подобная беда не пришла к его близким. Молится и мечет бомбы.

Падаю на пороге своей квартиры. Мать подхватывает меня на руки, тащит к кровати. Снимает валенки, тулуп, отбрасывает в сторону мокрую от пота шапку. Меня трясет и продолжает рвать. Она не знает, что со мной делать.

Двое суток провожу в бреду. Открывая глаза, вижу перед собой расстроившийся, расплывчатый мир, мамино лицо и лицо соседа, старика Розенберга, ветеринарного врача. Снова погружаюсь в болезненную тьму, в которой возникают различные фантастические картины, пугающие своими красками и образами. Черная фигура волочится за горделивым павлином, прогуливающимся по Красной площади. По сцене театра едет трамвай и гремит звонком. Зрители в ужасе вжались в кресла, потому что трамвай поворачивает и едет прямо на них...

Врач ведет тебя по коридору приемного покоя, к отделению, а я молюсь, сам не зная кому, чтобы все обошлось, чтобы ты скорее пошел на поправку и вернулся к нам.

Я приезжаю каждый день после работы. К тебе не пускают. Ты стоишь за закрытым окном и машешь мне рукой. Знаками пытаешься что-то сказать. Скрещивая руки на груди, кладу ладони на плечи. Так я показываю, что хочу тебя обнять. Не знаю, понимаешь ли ты меня. Две недели я приношу тебе записки от мамы и передаю через сестер. Постскриптом в записках пишу я: желаю скорейшего возвращения, сообщая, что безумно соскучился.

В одну из ночей у тебя был сильный жар. Ты не смог найти дежурного врача и сестру, долго стоял у поста, самостоятельно стал сбивать температуру. Растирался холодным полотенцем, прикладывал его ко лбу. Сестра все же появилась, сделала укол.

В конце концов болезнь отступила. Кажется, я радовался побольше твоего. Нам сказали, что тебя выпишут в пятницу. Дождаться было невозможно. Отпросился с работы и в больницу — встречать. Ехали на такси. Ты сосредоточился на счетчике и почти не отвечал на мои расспросы. А мне столько всего хотелось узнать!

Мама закатила праздник. Мы даже открыли шампанское. Тебя поили чаем, а ты говорил, что больничный чай не идет ни в какое сравнение с домашним. В больнице давали послащенную воду, словно бы просто подкрашенную чем-то чайного цвета. Было здорово, что мы снова вместе.

Когда ты уснул, я слушал твое мирное дыхание.

Как возникает замысел, что подталкивает человека к письму? Тот писатель по телевизору говорил, что приступает только тогда, когда придуман финал. Может не быть ничего, кроме финала, ни малейшего представления о сюжете, персонажах. Ему важно отчетливо понимать, к чему он приведет свое будущее повествование.

В редакции, где работал Андреев, был один человек, председатель профкома, насмотревшийся на других и сам ставший писать. Начал, понятное дело, с неуклюжих стихов, но через пару лет все же выучился подбирать сносные рифмы, выдерживать размер. Дошло до того, что устроил квартирник: созвал сослуживцев и целый вечер поил коньяком и читал стихи. Стали распространяться по редакции его рукописи. Андреев взял одну из них и прочел заголовок: «Виктор Рябой. Аромат поздней вишни. Стихотворения». Первые три или четыре вещи были о детстве, о каком-то парном молоке, стогах сена и конопатой девчонке. Просмотрев стихи по диагонали, Андреев открыл машинописную рукопись на середине. Кремлевские звезды, трудовой подвиг народа, покорение космоса. Ему все стало ясно, и он вернул текст автору. Тот, разумеется, спросил у очередного

читателя мнение. Андреев ответил: «Мнения у меня нет, но есть впечатление, что лучше бы никому, кроме родных, такое не показывать. Ученическая работа». Рябой виду не подал, но потом, как рассказывали, говорил кружку своих почитателей (мнимыми они были или нет), что Андреев сноб и ханжа, не готовый к открытию новых имен в литературе.

Через какое-то время Рябой принес сослуживцам сборник коротких рассказов, озаглавленный «Под небесами Москвы». Название ничего хорошего не сулило, но, улучив минуту, Андреев посмотрел и эту рукопись. Снова речь шла про детство, юность, говорилось о нехороших сталинских временах. И написано было так неряшливо, так плохо, что Андреев поспешил от пачки этих листов поскорее избавиться. Если бы подобную рукопись ему дали для работы, он предпочел бы сгореть, чем вычитывать.

Тем не менее число поклонников Рябого росло. Множилось и количество преподнесенных публике сочинений. «Астраханские дали», «В полях малой родины», «Комсомольский завет» — названия раздражали Андреева. Он уже просто не мог смотреть на Рябого, а тот непременно ухмылялся, встречая Андреева, и не подавал руки. Даже «здравствуйте» старался произносить как можно тише — как будто сказал, но вроде не говорил.

По большому счету Андрееву было все равно. Рябой для него ничего не значил, но эта странная мода на его творения озадачивала, вызывала один-единственный вопрос: «Почему?» Особенно его огорчало, что Рябого читают те люди, во вкусе которых он никогда не сомневался.

«Все говорят, что нужно вдохновение, — рассуждал Рябой в редакционном холле перед группкой коллег, — а я говорю, что дело не во вдохновении, а в потребности души. Все эти мифы — миф, поэзия чистой воды. Меня не вдохновляет ни жена, ни любая другая женщина. Меня вдохновляет труд, его предчувствие. — Под трудом, надо полагать, он подразумевал свои писательские потуги. — Меня будоражит будущий успех. Ведь для чего, собственно, мы, писатели, создаем произведения? Чтобы угодить читателю...»

Хотелось подойти и отвесить Рябому оплеуху, как нашкодившему и не понимающему тяжести

своего проступка ребенку. «Взрослые люди, — возмущался Андреев про себя, — а слушают подобную ахинею, рты пооткрывав!..» Художник, начинающий потакать публике, рассуждал он, становится обыкновенным ремесленником.

«Нужно первое предложение — без него никуда», — говорил в телеинтервью тот писатель, который наверняка никогда не стремился угодить читателю, завоевать его. Напротив, это читателю, взявшему книгу, предстояло завоевать писателя, то есть раскрыть его идею, проникнуться его стилем, его манерой изложения мыслей, добраться до самой сути и после этого наслаждаться созданием.

«Если не привлечь им читательского внимания — пиши пропало». Андреев вспомнил эти слова и принялся в спешке открывать все имевшиеся у него книги. Раскрывал на первой странице и прочитывал первые предложения. Удивительное занятие. А что, если составить антологию первых и заключительных строк самых известных произведений, причем авторство указать в конце, в примечаниях, чтобы предоставить читателю возможность угадывать? Сколько авторов и сколько произведений можно опознать подобным образом? «В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки...» или, скажем, «В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами...» Какие произведения открываются этими словами? А какое заканчивается этими: «Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром»?

В московской квартире Андреев собрал солидную библиотеку. Стеллажи, висевшие до потолка, всегда были предметом его особой гордости, поводом для зависти многих из тех, кто оказывался у него в гостях. Случалось, он приносил неизвестных авторов, находил им место на полке и оставлял в покое. Могли пройти годы, прежде чем Андреев вновь касался этого корешка и извлекал том наружу. Количество книг перевалило за тысячу, и хотя он не мог похвастаться, что сумел прочитать все, он был уверен, что познакомился с большей частью. Брался вести каталог: завел амбарную книгу, но занятие быстро наскучило — время хотелось тратить

на чтение, а не на учет. Ирина тоже пару вечеров посвятила книжной переписи, но отказалась от этой затеи. Потом дело подхватил Вадька: ему удалось сделать больше всех записей во время зимних каникул, но, едва возобновилась школьная учеба, как амбарная книга встала на одну из полок и осталась стоять там навсегда.

В Константиновке книг было несравнимо меньше. Из города он не привез ни одной. Что-то взял у Ивана Петровича и держал у себя, пока тот не требовал назад, что-то у Евсеева, старого большевика, как тот себя величал. Большевик жил за углом, на Садовой. Бывший партработник, ветеран войны дни свои проводил прикованный к инвалидному креслу с большими скрипучими колесами, глядя прямо перед собой, мало на что обращая внимание. Он страдал от какого-то заболевания, при котором каждое, даже легкое движение вызывало нестерпимую боль. Болеутоляющие то выручали, то не оказывали никакого действия, и постепенно Евсеев отказался от них, решив, что в таком случае лучше сидеть неподвижно и беречь желудок. Он оставался скуп на слова, потому что, произнося их, машинально принимался жестикулировать и от боли на глазах выступали слезы. В общем, книги Евсееву были ни к чему, он ими не дорожил, и его библиотека постепенно перетекала во владение Андрееву, уже навесившему три полки на веранде и задумавшему приобрести небольшой книжный шкаф со створками. Хорошо было бы, думал он, устроить на веранде читальню.

Ночь после рассказа Ивана Петровича Андреев провел беспокойно. История приятеля сильно растрожила его: он живо представлял себе все, о чем тот говорил, и от этого так проникся чужой бедой, так ее прочувствовал, словно сам все пережил. В собственной его жизни ничему подобному места не находилось: Ирина никогда не давала повода для ревности, для подозрений. Сейчас он был уверен, что целую жизнь, несмотря на мелкие ссоры, по большей части бытовые, они прожили мирно. И это возникшее однажды родство могло продлиться гораздо дольше, если бы... Снилось Ирина, снился Вадька. Вадька-школьник, Вадька-десятиклассник, принимающий из рук директора школы аттестат. Довольный, сияющий, красивый.

Андреев проснулся, долго смотрел в потолок, едва освещенный тусклым светом из-за окна. «Надо собраться и поехать к Вадьке, — неожиданно решил он. — Столько лет прошло, а я все не еду и не еду. Пора, — сказал он сам себе, — смириться наконец, привыкнуть. Жить постоянно в полуфантастическом, полном воспоминаний и грез мире становится невыносимо. Надо смотреть правде в глаза. Что есть, то есть. Соберусь на этой же неделе и поеду...»

Но поутру он ощутил неясную боязнь чего-то, прилив тревоги, необъяснимого волнения и тут же отрешился от собственного, казавшегося твердым намерения. До вечера ходил сам не свой, то уговаривая себя все же поехать, то умоляя отказаться от этой мысли, остаться здесь, продолжать вести наладившуюся, устоявшуюся, без лишних тревожностей жизнь, где каждый день похож на предыдущий. Уже есть покой, понимание своего места в мире, ощущение одиночества и оправдание своей нерешительности и неподвижности. Но неподвижность, уверял себя он, только внешняя. Внутри жизнь была куда насыщенней, ярче, волнительней: он закончил одну тетрадь и взялся за другую. Нет, он не записывал все, что приходило в голову. Напротив, он внимательно прислушивался к себе, к внутреннему голосу и отбирал только самое важное. То, что непременно должно было отразиться на бумаге. Он увлекся настолько, что однажды даже по случайности ляпнул при Иване Петровиче, что пишет что-то такое и, возможно, вскоре ему покажет. Иван Петрович, судя по всему, не очень заинтересовался, но вежливо поклонился и сказал что-то вроде: «Надо будет почитать, конечно...» В дальнейшем ни разу о том не спросил, что обрадовало Андреева, знавшего, что показывать свои записи рановато, хотя время от времени его так и подмывало подсунуть что-нибудь соседу. Скорее, в нем говорили самолюбие и желание оказаться услышанным. Хотелось одобрения — любой, пусть маленькой похвалы. Тогда бы он понял, что все не напрасно, что записи когда-нибудь прочтут и другие люди.

Одолжив у Нины косу, Андреев принялся приводить участок в порядок. Он давно недовольно поглядывал на разросшуюся траву, на повывлазившие из земли сорняки, на занесен-



ный невесть откуда борщевик, отвоевавший себе собственный угол и грозивший ожогами любому, кто посмеет приблизиться. Андреев не то чтобы избегал физического труда, а скорее, сторонился его. Не то чтобы жалел силы, а скорее, берегал их. Виной тому, конечно, была лень, и он потакал ей сколько мог, пока вид дичающего участка не вывел его из себя окончательно.

К работе Андреев приступил исступленно, наморщив лоб и сдвинув брови, пойдя на траву буквально в штыковую. Борщевик пал к его ногам после нескольких сильных взмахов косой. Предстояло граблями собрать все, что было скошено, сложить на двухколесную Нинину тележку и сбросить в яму, вырытую когда-то для этих целей. Андреев тяжело дышал, обмахивался снятой с руки перчаткой, приподнимал козырек кепки и тыльной стороной ладони вытирал выступивший пот. Косьба вытащила из него все накопленные силы, но он остался доволен собой и позже, расслабляясь на веранде, любовался похорошевшим двором и даже решил пригласить по случаю Ивана Петровича.

Он заглянул к нему в обеденное время. Дом стоял запертый на замок, а в щель между дверью и косяком вставлена была записка: «Уехал в город на несколько дней. Не беспокойтесь». Андреев заглянул в окно, попытался рассмотреть комнату, но увидел лишь стол, накрытый белой скатертью, вазу с полевыми цветами на нем, разложенные на полу удочки и пару сапог поверх расстеленной газеты. Он присел на скамейку у входа, вытянул уставшие ноги. Над ним проплывали гонимые быстрым ветром облака, кружили ласточки со стрижами, то ли резвясь, то ли намереваясь возвестить приближение дождя. Отовсюду пахло летом: разомлевшей на солнце травой, земляникой, выросшей вдоль дома Ивана Петровича, дымом костра.

Как-то всю жизнь обходились без этого: без загородных поездок, дачи. Вадьку летом отправляли в пионерские лагеря на две-три смены, сами никогда не отгуливали весь отпуск в летние месяцы. Несколько раз ездили на море: побывали на Черном и Балтийском. Как-то жили. А теперь Андреев не представлял себя без всего этого: одноэтажного домика, пустынной дороги, тишины, нарушаемой лишь звуком

кем-то выбиваемого ковра. Но все в итоге он списывал на возраст: еще лет десять назад ни за что не променял бы Москву на Константиновку. Не нашлось бы такой приманки.

Что касается Вадьки, то он никогда не завидовал товарищам, проводившим лето на дачах и в деревнях у родственников. Ему доставало своей насыщенной жизни. Как-то раз приехали к нему в родительский день в лагерь (Вадьке было одиннадцать или двенадцать), а он встречает со слезами. Что такое? Оказалось, что половина смены позади, а ему ужасно не хочется возвращаться домой: «Тут друзья-я-я!» — и рыдает в голос. Сколько ни убеждали, что в Москве тоже друзья, — слушать отказывался. Потом выяснилось, что подружился с какой-то девочкой: гуляет по лагерю только с ней, делится полдником, отдает все сладкое, на киносеансах сидит рядом. Вернувшись в Москву, созванивался с ней каждый день — уроки не заставишь делать. Висит и висит на телефоне. Соседи приходили ругаться — линия-то спаренная. А Вадька ни в какую — не выпускает трубки из рук: «Еще две минуты!» И голос строгий такой, почти взрослый. Что бы ни говорили, а расстояние — помеха для отношений. Жила та девочка на юге Москвы, а Андреевы на севере. Звонить Вадька стал реже — два-три раза в неделю, потом только по выходным, а затем совсем перестал. Когда спросили его, в чем дело, ответил серьезно, как человек, уже переживший и осмысливший удар: «Она меня разлюбила, у нее теперь Федя какой-то». О ней больше никогда не говорил, не вспоминал. В Вадькиной старой записной книжке ее имя было обведено красными чернилами, а потом заштриховано черными. Звали ее Аня Лидина. Или Лилина. Андреев плохо помнил. Вадька с ней потом даже встретился — летом после окончания школы. Гуляли в Сокольниках. Когда вернулся домой, на вопросы отвечал кратко: «Изменилась. Будет поступать в МГУ. Не красивая, но что-то есть. Нет, больше не встретимся».

Когда ты впервые привел Олю домой, я понял, что ты повзрослел и я не имею права относиться к тебе как к ребенку.

Красивая. Светло-русые волосы и темные, вечно смеющиеся глаза. Она была высокой,

почти с тебя ростом — уступала всего несколько сантиметров. Вы здорово смотрелись вместе. И тогда, на нашей уютной кухне, и позже, на выпускной фотографии класса: вместе с девчонками она расположилась на стульях, а ты стоял прямо позади нее. Я сразу решил, что буду не против, если вы захотите пожениться.

С нами, взрослыми (вернее сказать, старшими), она общалась легко и, казалось, совсем не стеснялась. В определенные моменты ты робел больше нее, и я замечал, как ты гордишься ею за то, с каким достоинством она держится и ведет себя. Она часто приходила в наш дом, порой готовила на всех ужин, будто давно была принята в семью. Серьезность ваших намерений чувствовалась уже тогда.

Она рассказывала про младшего брата, большого непоседу: с ним вечно приключались истории, дня не проходило, чтобы он не принес в дом очередного голодного котенка. Их нельзя было оставить, потому что у Оли сразу начиналась аллергия. И пока котенка кормили и поили, она закрывалась в своей комнате, чихала из-за двери и ругалась на брата. Тот серьезно отвечал: «Скоро выйдешь замуж, тогда заведу себе трех котов. Нет, четырех!» Так забавно. Еще этот мальчуган постоянно что-то ломал, приводил в негодность, и их отец по вечерам занимался ремонтом и починкой всего и вся. Оля брата очень любила, посвящала ему немало времени и признавалась, что очень хочет своих детей. «А ты, Вадим, хочешь?» — спрашивала наша мама. Ты расправлял плечи, чтобы показаться еще важнее, и, кашлянув, не без доли смущения отвечал: «Сначала нужно школу окончить, профессию получить и только потом говорить о подобных вещах». Оля, во всем находившая смешное, прыскала со смеху, хватала тебя за руку, за чем-то долго трясла и не могла успокоиться. Эта твоя напускная серьезность, в которой раз за разом проглядывались не вышедшие из тебя детскость и наивность, нередко так веселила нас с мамой, что и на твоём лице проступала улыбка и ты принимался хохотать над самим собой.

Все это было давным-давно: школьный выпускной, красивое Олино платье, ее модная, вовсе не шедшая ей прическа, твой строгий костюм, заказанный за баснословную цену в ателье у лучшего в районе мастера, моего дав-

него приятеля Виктора Александровича. Ты впервые повязал галстук — мама помогала с ним, роняя слезы.

Ты появился у нас поздно. Мне исполнилось тридцать семь, мама была на два года младше. Долгое время мы не задумывались, что называется, о продолжении рода: жили своими жизнями, наслаждались ими. Все вокруг обзавелись наследниками (меня всегда коробило это слово, когда кто-то произносил его в отношении своего отпрыска), поторапливали с этим и нас, но мы ни на кого не смотрели. Ты родился в любви — мы тебя ждали, любили еще до твоего появления на свет.

На выпускном мы были самыми старшими из родителей. Я немного конфузился, да и мама тоже. Сидели в заднем ряду во время выдачи аттестатов и боялись слово проронить. Это был важный момент не только в твоей, но и в нашей жизни.

Признаюсь честно: в тот день я, пожалуй, впервые почувствовал себя пожилым человеком. Отчего-то возникло ощущение, что моя жизнь завершилась. И именно там, где это произошло, началась твоя взрослая, осмысленная, серьезная жизнь.

Мы с мамой не спали до утра, ожидая твоего возвращения. Но не потому, что волновались. Мы пили вино и вспоминали свою молодость, уже, казалось, отдалившуюся, и твои детские годы. Мама повторяла, что ты станешь ученым. Я твердил, что сперва нужно отслужить в армии. Все же ты был спортсменом, победил в нескольких соревнованиях городского и областного масштаба. Пристрастился к стрельбе — поражал мишени без промахов. Твоя рука никогда не дрожала, ничто не мешало тебе сосредотачиваться на целях: ни ветер, ни дождь, ни мороз, ни снег. Именно поэтому я постепенно подвел тебя к мысли, что в первую голову армия, а потом уже институт и все, чего душа пожелает. Мама и Оля выступали категорически против, но спорить со мной ты не смел.

Сейчас ты обязан спросить меня, жалею ли я о своей настойчивости, об упрямстве, о бескомпромиссности выбора, сделанного мной за тебя. Вадим, у меня сердце кровью обливается...

Конечно, Оля была неправа, сказав, что не станет тебя ждать. И момент такой неподходя-

ший подобрала — прямо на проводах. Не знаю, о чем она думала, чего добивалась. С любимыми так не поступают. Но пусть ее судит кто-нибудь другой, не я. За мной иная вина.

Хорошо, что ты не опустил рук, не раскис. Сделал вид, будто ничего не произошло. Но я нечаянно подслушал твой разговор с Митей на лестничной площадке: ты клял Олю нехорошими словами, хотел пойти к ней, объясниться. Митя верно сказал, что это ничего не изменит, и ты вернулся к гостям.

Уже через год ты стал старшиной. Мама не разделяла моего восторга. Она вообще как-то отстранилась от происходившего с тобой. Подозреваю, что она осталась недовольна, что ты ни разу не возразил мне, решавшему твою судьбу, посчитала тебя безвольным. Это несправедливая оценка, и я надеюсь, что потом она перестала думать подобным образом. Одно точно могу сказать: она боялась за тебя, и ты прекрасно понимаешь почему.

Я тебе не сказал, не сообщил, что Оля приходила к нам дважды. В первый раз я не пропустил ее через порог и попросил уйти. Во второй сжалился. Она вошла, села на свое обычное место, попросила чаю. Пила молча, потом сказала: «Василий Васильевич, я такая дура... Нет ни дня, чтобы я не жалела о своем поведении». Долго корила себя, и мы с Ириной не мешали ей выговариваться. Видно было, как тяжел камень на ее душе.

Осторожно поинтересовалась, можно ли ей написать тебе. Я твердо отказал: «Пусть служит, ему сейчас тяжело, много работы. Твое появление отвлечет его, разбередит рану. Если ты действительно любишь Вадика, как сейчас говоришь, — дожись его, осталось несколько месяцев». — «Я дождусь, Василий Васильевич! Правда, дождусь! А вы, Ирина Валентиновна, верите мне?» Мать, растроганная, кивала и шептала мне: «Да пусть девочка напишет. Что плохого выйдет?» Я не разрешил, Вадька, не позволил тебя беспокоить.

Когда я плачу, мой нос отчего-то становится очень большим, похожим на картошку. Смотрю на себя в зеркало — невероятно занимательное зрелище...

В середине июля Нина пригласила Андреева

на празднование своего юбилея. Собралось человек двадцать. Со многими он не был знаком, а потому с интересом присматривался к новым лицам. Рядом с ним сидел ее муж. Он не ел и не пил, всем видом показывая свое недовольство происходящим. Нина не позволила ему позвать своих дружков, и он то и дело поглядывал то на супругу, то на дверь, наверняка собираясь улучшить подходящий момент, чтобы сбежать. Пока он нервно теребил в руках костыль, Андреев предлагал ему салат и заливной, хотел налить водки, но инвалид качал головой: «Мне этот ёйный юбилей до glandов дошел», — и громко цокал, чтобы все услышали.

Стол был накрыт богато: салаты, несколько видов закусок, свинина на горячее. Почти все пили водку, так что, когда она начала подходить к концу, из закровов появился самогон. Андреев тоже пил водку, наполовину разбавляя ее водой. Не хотел напиваться на жару, да и не был особо привычен к подобному времяпрепровождению.

Лысый Степан, с самого начала травивший анекдоты, дошел до кондиции и обратился к хозяйке: «Нинка, тащи граммофон, будем слушать пластинки и танцевать!»

Танцы гремели в соседней комнате так громко, что те, кто не принимал в них участия, пересели поближе к Нине, чтобы слышать друг друга. «Ну что, — отчего-то радовалась Нинина подруга, — побег твой Сережка-хромоножка? Жди теперь ночью. Ох, когда ж ты его выгонишь наконец...» За инвалида вступилась другая — круглолицая крупная женщина с красными пятнами на щеках и лбу: «Куда ж она его выгонит? Да ей государство не даст, он же инвалид! Ему уход особый нужен». — «Какой там уход! Залил водки с утра в бак — и фурычит до ночи». Нина поднялась, стукнула кулаком по столу, задребезжали приборы: «Цыц, бабы! Хоть сегодня о нем не будем! Пойдемте плясать, там Челентано поет!»

Утомленный духотой, Андреев вышел во двор. Под яблоней, на самодельной табуретке, он заметил Настю, соседскую дочку. Он встретился с ней несколько раз то на улице, то в магазине и был о ней хорошего мнения: тихая, воспитанная девушка, одевавшаяся скромно и всегда заплетавшая волосы в косу. Небольшо-

го росточка, с немного пухлыми, как у ребенка, руками.

Он подошел и увидел, что она плачет. Она мгновенно отвернула лицо, но он успел заметить мокрые щеки и дрожащий рот. Настя покинула праздник еще раньше Сережки-инвалида.

— Что же ты не танцуешь? — спросил он.

— Уйдите, дядя Василий, не видите, я плачу... — ответила она, пряча лицо за ладонями.

— А хочешь, мы пойдем с тобой сейчас и потанцуем? — предложил он, делая вид, что не услышал.

— Ничего я не хочу. Одна хочу быть.

Андреев почесал в затылке и решил было, что подошел с разговором зря, не вовремя, однако Настя, видя, что он собирается уйти, остановила его:

— Это все потому, что Колька меня не любит. Поэтому слезы, — сказала она, поспешно вытирая их.

— Что за Колька?

— Да тот, что справа от вас сидел, между женщинами, промеж жены и тещи.

— А, этот Колька... Что ж ему тебя любить, если у него жена?

— Он сам мне говорил, что любит. Год назад говорил, потом еще. Обещал, что жену бросит и ко мне придет.

— Сколько тебе лет? — спросил Андреев, кладя руку ей на плечо. — Двадцать?

— Двадцать восемь уже.

— А ему?

— Сорок пять.

— Смотри, какая разница. Разве ж вы пара?

— У них с женой детей нет. Люди говорят, неродящая она. А я бы могла.

— Что могла?

— Ну... — Настя запнулась. — Родить ему ребятшек. Вы себе представить не можете, как я детей люблю. Вот нянчилась недавно с племянниками... Я его, дядя Василий, еще со школы люблю. Он за мной тогда приударить решил. Вы только никому не говорите... Пристал ко мне, когда я с уроков шла. Настенька, говорит, пойдем на речку, посидим, потолкуем. У меня отец с ним дружит, вот и пошла доверчиво. Иду и думаю: зачем? Он со мной говорит о чем-то, а я не слушаю, потому что он мне руку на пояс положил и ведет как будто. Мне и страшно было, и

приятно. На меня ведь в школе никто не смотрел. Я страшной себя считала. И сейчас некрасивая, а тогда и вовсе смертный грех, а не красота... До речки мы не дошли, свернули в какие-то кусты. Он меня целует, я не сопротивляюсь. Для меня все в новинку. Я ему даже отвечала, понимаете? Понравился он мне — деваться некуда. В тот раз дальше поцелуев не зашло, и вернулись мы вскоре домой. Целый вечер прорыдала, даже уроки не сделала. Стала с того дня наши встречи подстраивать: ходила за ним, с разговорами приставала, но только так, чтобы жены его поблизости не было. А он как будто охладел: не смотрит на меня, только слушает. И то, может, мимо ушей пропускает. И стала я понимать, что в тот раз все у него по пьянке было: припомнила, что водкой от него пахло, а я, дуручка, значения не придавала. Привыкла, что от мужиков водкой часто пахнет. От отца моего, например. Не подумайте, что он пьющий, но на обед, на ужин рюмку себе наливает... Тут я Кольку прямо спросила: «Что, не любишь меня? А я тебя — люблю». Он долго не отвечал, а потом говорит: «Отдашься мне — уйду от жены». Другими словами сказал, но я повторять не стану.

Она посмотрела на Андреева, ища сочувствия. Нет, не со взрослым человеком говорил он сейчас — Настя оставалась тем самым подростком, который после тех Колькиных слов бежал без оглядки. Для нее все замерло в то самое мгновение, сама жизнь остановилась. Она давно уже окончила школу, работала в местном совхозе, а все возвращалась мысленно к тому дню.

— На глаза ему старалась не попадаться. Так и жили: он сам по себе, я сама по себе. Но поселок, сами знаете, небольшой, трудно избежать кого-то. Встречались с ним, конечно, но не разговаривали. Я его как увижу — сразу в дрожь. Обнять его хочу, приласкать. А не могу. До сих пор — все эти годы. Никого не любила так, как его. Он, гад, наверное, все чувствует, потому что порой приближается и шепчет: «Люблю тебя, Настя, вот те крест. Скоро будем вместе!» Измывается надо мной, наверное... Что же мне делать, дядя Василий? Подскажите, а?

Видя, что он устал стоять, Настя уступила ему табуретку, присела рядом на траву, положив ладони ему на колени. Она словно ждала отеческих наставлений, а ему нечем было утешить, не-

чего было посоветовать, кроме как забыть о Николае раз и навсегда. Про себя он сразу все сообразил: говорит в ней юношеская, надуманная любовь, сделавшаяся терзающим ее монстром. И победить его, как в сказке, может только настоящая, искренняя любовь, которая бог весть когда к ней придет. Но сказать об этом несчастной девушке он не решился: ему одновременно хотелось и пожалеть ее, и отругать за слабость, за пустые мечты, за жизнь, проводимую в отчаянии. На его счастье, вышли Настины родители и позвали ее домой. Она взглянула на Андрея: «Только никому не рассказывайте и не думайте обо мне плохо!» — и поспешила прочь.

Через неделю в сопровождении внуков вернулся Иван Петрович, гостивший в Москве у дочерей. «Поехал сразу, ни к чему долгие сборы. Так, может, и не собрался бы совсем, — рассказывал он. — Позвонил им с вокзала. Ошарашил. Но приняли. Одна в Отрадном живет, другая на Ботаническом саду. И там побыл, и там, чтобы никому не обидно. Тесновато, конечно, но что поделывать. Теперь вот мальчишек привез, пусть посмотрят, как дед живет. Рыбаками их сделаю. А что? Ты, Васильич, компанию мне не составляешь, так хоть они. Все не так грустно. Усну — так растолкают». Иван Петрович рассмеялся и позвал ребят есть.

Андреев остался с ними. Наблюдал, даже завидовал соседу, как-то преобразившемуся, отчасти помолодевшему. Сам он в последние дни ловил себя на мысли, что стареет. Делает это по собственной воле, намеренно. Попрятал все свои тетради, отказался от чтения, подолгу сидел без всякого занятия. Обленился и забросил бритву, готовил мало, перестал ужинать. Пытаясь сосредоточиться на какой-либо мысли, быстро терял ее; все чаще обращался к памяти, извлекал из ее закровов все какие-то безрадостные, горестные воспоминания. Представлял брата Валеру, умершего за два года до войны от дифтерии.

Валера был старше на пять лет, учил младшего Андреева уму-разуму, помог постичь непростую науку жизни, пока родители работали. Защищал от ребят во дворе, заступался, но однажды остался в стороне, когда погодки Василия задирали того от нечего делать, от мнимого ощущения некоего своего превосходства. Анд-

реев был тогда меньше всех ростом, худой, весь в синяках и ссадинах, полученных в силу горячей любви к лазанью по деревьям и крышам, прыжкам через заборы и прочим дворовым забавам. Валера держался в стороне, а мальчишки прижали Василия к стенке: он жалостливо глядел на стоявшего неподвижно брата и словно умолял защитить. Поняв, что Валера на помощь не придет, младший Андреев решил дать отпор ребятам, осыпавшим его обидными словами, уже пару раз ударившим в грудь — пока вполсилы, чтобы припугнуть, вывести из равновесия. И когда он увидел, что Холмогор, главный из заدير, замахивается, чтобы вымазать его по лицу, Андреев увернулся и дал высококому, сутулому мальчишке прямо в кадык, не дотянувшись до щеки, носа, рта. Внезапно проявленная Андреевым смелость, его решительный взгляд поубавили спесь нападавших. Он встал в боевую стойку, как учил брат, чтобы одной рукой прикрывать лицо, а другой в случае необходимости наносить удары. Ребята отстали. Когда он подошел к Валере и с обидой спросил, почему тот, как обычно, не заступился, брат ответил: «Я знал, что ты справишься. Пусть так будет и впредь. Тебе это дано. Ты же не трус, как они».

Валеру хоронили всем домом — многие его любили, другие уважали его родителей. Младший Андреев плелся за гробом старшего брата в сбитых сандалиях, в длинных коричневых шортах на подтяжках, в жавшем коричневом пиджачке, одолженном у кого-то из соседей. Речей произносили мало. Дольше всех говорил отец — усатый майор, по-армейски строгий, чуждый сентиментальности и лишних слов. Говорил по делу, не распространяясь о чувствах. Перечислил учебные и пионерские успехи сына, сказал, что гордится тем, что даже за свою короткую жизнь Валера успел принести пользу родине. Младший Андреев ковырял носком землю и не поднимал глаз. Он чувствовал отцовскую крепкую руку на плече, еще сильнее вцепился в материнскую влажную и горячую ладонь и попытался выдавить из себя слезу, решив, что от него только этого и ждут. Но слез не было. Позже он долгое время считал себя бесчувственным истуканом, жалел, что тогда, в день прощания с Валерой, был не братом, а кем-то посторонним.

Во время войны небольшое кладбище, где по-

хоронили Валеру, разбомбили немцы. В сорок шестом отец, вернувшийся из Австрии, решил организовать кенотаф на другом столичном кладбище: выбил участок, все устроил. Теперь там лежат все: отец, мать, бабушки... И есть памятник Валере Андрееву, прожившему короткие шестнадцать лет.

Когда закончился рабочий день и во всем здании стали гаснуть окна, в корректорской, в небольшом помещении сразу за углом от одной из редакторских, за столом сидели двое: молодая женщина и маленькая девочка. При свете настольной лампы они занимались прописями, и женщина терпеливо и строго делала девочке замечания, поправляла, показывала, как нужно. Иногда она тяжело вздыхала, откидывалась на спинку стула и прикрывала глаза. Девочка, не давая передохнуть, дергала ее за рукав, прося: «Мамочка, посмотри, я как нужно написала?»

Молодую женщину звали Катей. Несколько лет назад она окончила институт и пришла работать в редакцию. Она носила большие круглые очки, прическу с пробором, одевалась немного неряшливо; неярко, почти незаметно красила губы и походила на отличницу-старшеклассницу. Всегда держась в стороне от коллег, она словно хотела оставаться неприметной. Часто, когда кто-нибудь спрашивал о Кате Поляковой, многие не понимали, о ком идет речь.

Катя никогда не опаздывала, приходя на службу минута в минуту, никогда не отлучалась по неотложным делам, выходила из здания через пять минут после окончания рабочего дня. Но сегодня, вопреки привычкам, опоздала на двадцать минут, привела с собой дочку Лерочку, девочку с красными бантами, усадила подле себя, строго-настрого наказала никому не мешать и сразу включилась в работу.

Без дела Лерочке не сиделось. Она с лукавым прищуром разглядела присутствующих, повертелась, спрыгнула со стула и приблизилась к окну. Наблюдение за проезжавшими мимо автомобилями вскоре ей приелось, и она принялась ходить меж столов, пытаясь подглядеть, чем занимаются люди, работающие с ее мамой. Каждый, к кому она подходила, отрывался от работы, награждал ее искренней или дежурной улыбкой, а Прохор, чего-то переживавший в

корректорской и лениво листавший газету, протянул ей конфету. Лерочка сказала «спасибо», зашуршала фантиком, а Катя цыкнула на нее: мол, потише.

Девочка хотела выйти в коридор, по которому, как она видела через приоткрытую дверь, ходят туда-обратно мужчины и женщины, но мама шепотом подозвала ее к себе и попросила никуда не отлучаться. Она дала ей в руки учебник русского языка и вновь вернулась к корректуре.

Лерочке совсем не читалось, когда все вокруг нее в ужасно таинственной обстановке склонили головы над какими-то бумагами, водили над ними ручками и карандашами, шевелили губами и ни на что не обращали внимания. Даже когда в кабинет ворвался какой-то мужчина и громко провозгласил: «Покупаю «Жигули!» — никто ему слова не сказал, только Прохор покачал головой и подмигнул.

Взгляд Лерочки встретился со взглядом Андреева, и она, словно желая сыграть с ним в гляделки, уставилась на него своими большими темными глазами и не думала прекращать. Андреев сначала смотрел на нее с напускной серьезностью, но в конце концов разулыбался, что девочка приняла за приглашение к общению. Она вновь соскочила со стула, не выпуская учебника из рук, и в мгновение ока оказалась рядом с ним.

— Дядя, а что вы делаете? — спросила она очень просто и искренне.

— О, девочка, мы заняты важнейшим делом. Мы ищем ошибки!

— Василий Васильевич, вы совсем не должны... — повернулась к нему Полякова.

— Ничего страшного, Катерина, — он один звал ее так, — мне как раз нужен перерыв. Снова Толмачев написал, не продерешься сквозь его кустистый слог. — Кое-кто хихикнул в ответ, и вновь воцарилась тишина.

— Какие ошибки вы ищите? — заинтересовалась Лерочка.

— Понимаешь, мы корректоры. Мы читаем все тексты, что печатают в книжках и газетах, прежде чем они отправятся в типографию. Типография — это такое место, где появляются на свет книжки, — объяснил он. — Вот смотри: у тебя есть учебник. Его тоже напечатали в типографии. Но перед этим его прочитала масса

людей: разные редакторы, корректоры — такие, как твоя мама. Все это делается для того, чтобы в книжках, которые ты будешь читать, не было ошибок.

— А ошибки что, вредные? — насупилась Лерочка и обернулась на маму, явно не совсем понимая, о чем говорит Андреев.

— Еще какие! — воскликнул он. — Им не место на книжных страницах, как и пиратам на просторах морей. Они могут сбить читателей с толку, направить его по неверному пути, запомниться, отложиться в памяти. Вот, например, ты запомнишь неправильно напечатанное в учебнике слово и снова начнешь его неправильно писать, а учительница поставит тебе двойку.

— Как это? — хлопала глазами девочка.

— Ты знаешь, как пишется слово «солнце?»

— Знаю, знаю! — радостно заверещала Лерочка. — Мы недавно проходили на уроке. Оно пишется через букву «эль»!

— Правильно, — улыбнулся Андреев и похлопал ее по плечу.

— А чем еще занимаются эти колле...корле... ну, вы все?

— Поиск ошибок — наша основная задача. Так что знай: твоя мама выполняет важную работу. Она помогает людям, хотя часто эти люди об этом не догадываются...

Когда рабочий день окончился, в кабинете остались только Катя с Лерочкой и Андреев. Он погасил свою лампу, закинул руки за голову и сидел неподвижно. Кате не было видно, смотрит ли он в их сторону или нет. От этого было немного не по себе, и она решила заговорить с ним.

— Василий Васильевич, вы почему домой не идете?

— Не знаю. Не хочется вставать, — ответил он не сразу. Тихо, через паузу.

Она вспомнила вдруг, что недавно он потерял жену, и теперь собственный вопрос показался ей неуместным.

— Нет, вы только не сочтите...

Андреев щелкнул выключателем, загорелась лампа. Он сидел готовый к выходу, в пальто, шапке, повязанном шарфе. Катя растерялась еще больше и, как провинившаяся школьница, залепетала:

— У нас, знаете, приехали мужчины родствен-

ники. Много, пять человек. Полна коробочка. — Последовал нервный смешок. — Лерочка сейчас на бюллетене, а я не хотела оставлять ее с ними на весь день, в квартире приткнуться негде. Так что вот... Вы, наверное, не представляете, что это такое, когда много людей в крошечной квартире... Ой... — Она бросила виноватый взгляд на Андреева и спрятала глаза.

— Заканчивайте работу, — по-прежнему тихо, спокойно говорил он. — Далеко вам до дома?

— Три остановки на троллейбусе и там еще пешком под горку. Ну, знаете... Там очень скользко сейчас. Я пару раз уже грохнулась. И Лера тоже...

— Можно я вас провожу? — неожиданно спросил он.

Катя приподняла очки, потеряла поочередно глаза, снова опустила оправу на нос и только тогда ответила:

— Ну что вы, час поздний, вам самому, наверное, далеко ехать, чего же кряк...

— Пожалуйста.

В троллейбусе, подошедшем не сразу, Лерочка сидела рядом с Андреевым, а Катя стояла над ними. Мужчина и девочка о чем-то разговаривали. Полякова была довольна, что дочь успела позаниматься, не скучала весь день и к ней хорошо отнеслись в коллективе, не бросали на нее косых взглядов, никто слова не сказал о Леринном воспитании, плохом поведении или чем-то подобном. За это она сильно переживала.

Она работала с Андреевым уже несколько лет, но только сейчас подумала о том, какой он хороший, вежливый, добрый человек. Он говорил с девочкой на одном языке, и она не отлипала от него весь день, подпав, вероятно, под его обаяние.

Шли по длинной аллее среди новых высоких домов. Горели оранжево фонари, вырывая из темноты легко кружившиеся снежинки. Там, где Полякова предупредила, Андреев повалился, поскользнувшись на льду, присыпанном снежком, громко хохотал, а рядом с ним прыгала развеселившаяся Лерочка. Катя просила ее помолчать, чтобы не застудить горло, но девочка смеялась и смеялась вслед за мужчиной.

Когда дошли до подъезда, Андреев долго благодарил Катю за прогулку, за позволение побыть с ними, пожелал спокойной ночи и уже

было развернулся, чтобы отправиться в обратный путь, как она окликнула его:

— Василий Васильевич, простите... Пообещайте, что у вас все будет хорошо. Я прошу вас!

Он приподнялся на носках, козырнул молодой женщине и девочке и, насвистывая что-то, направился к остановке.

Почти каждый день незнакомый Андрееву мальчик гонял по дороге старую автомобильную покрывку. Он жил в новом доме с блестящей крышей, позади высокого, непроницаемого для взглядов забора. Видимо, приехал на лето и ни с кем из местных не сошелся. Он все пылил и пылил своей шиной, командуя ею, задавая ей траекторию движения, и носился следом. Андрееву нравилось наблюдать за этой не надоедавшей мальчишке игрой.

Со вчерашнего дня стало холодать, припускал небольшой дождик, но быстро прекращался, а следы его моментально исчезали с улицы. Во всем чувствовалось приближение осени: в укоротившихся днях, в холодных, ветреных ночах, в утренних туманах, в переменивших полет птицах, в изменении их песен. Казалось, что меньше радости звучало в птичьем пении; все реже они запевали в соседнем леске, в деревьях и траве. Все увядало, теряло прежний насыщенный цвет. Городские, жившие в поселке только летом, начали постепенно съезжать, прибираясь в домах, запирая их на долгий срок. Вчера Андреев прогуливался по соседней улице, и большинство домов молчало — похоже, их уже покинули.

Последние дни Андреев проводил у Ивана Петровича, следя по телевизору за развитием ситуации в Москве. Когда сообщили о самоубийстве Пуго, Иван Петрович хлопнул себя по коленям и воскликнул: «Вот бы все они так, по его примеру!» Он отговаривал Андреева от задуманной поездки в столицу, предлагал переждать, говоря, что обстановка беспокойная, ситуация еще может выйти из-под контроля и ни Ельцин, ни Горбачев не усмирят народный бунт, стоит ему только начаться. Был убежден, что армия перейдет на сторону народа. Когда Андреев спросил, из-за чего разразится бунт, Иван Петрович заерзал, отвечал невпопад и ограничился короткой тирадой: «Страна трещит по швам и разваливается».

Андреев и не собирался ехать в центр Москвы. Его маршрут лежал в стороне от Белого дома, Красной площади и других мест, где, взбодраженные пугчем, дневали и ночевали люди. В какой-то момент он рисовал себя в толпе защитников Белого дома, видел себя выкрикивающим какие-то лозунги, но в итоге пришел к заключению, что, будь он в столице, вообще не покинул бы квартиры. Быть может, из страха оказаться затоптанным или угодить под гусеницы бронемашин, как тот парень, Дима Комарь. Имя отчего-то врезалось в память — совсем молодой, недавно из Афганистана. Думая обо всем происходящем, Андреев поймал себя на простой, очень честной мысли: хотелось комфорта, собственной безопасности, и плевать, что кто-то сочтет его трусом. Куда больше его волновал вопрос о том, автобус какого маршрута ему нужен в Москве, чтобы добраться до места. Он никогда не ездил туда общественным транспортом, предполагал, что остановка находится напротив Щелковского автовокзала, на другой стороне шоссе. Нужно будет поспрашивать людей, наверняка найдутся знающие и едущие в ту же сторону.

Сборы были мучительно трудны: Андреев в нерешительности протянул два дня. Он то укладывал вещи в небольшую спортивную сумку, то выгружал их обратно, думая с отчаянием: «Пропади все пропадом! Не могу я ехать. Не могу!» Уговаривал самого себя собраться с мыслями и ехать. И только ему удавалось настроиться, как звучало в мыслях: «Все это нарушит покой, баланс...»

Наконец утром двадцать шестого августа, в понедельник, накинув пальто, надев давно не ношенную шляпу, Андреев запер дверь своего домика, погляделся в оконное стекло на свое отражение, неприязненно повел плечами, поднял с земли сумку и вышел на дорогу.

Путь до станции в этот раз был непривычно долгим. Как назло попадались знакомые лица, и Андреев приостанавливался, приподнимал в знак приветствия шляпу, пытался избежать разговоров, но неизменно отвечал на пару вопросов о делах, здоровье и прочих не важных сейчас предметах. Дольше всего его задержала Нина, возвращавшаяся из магазина. Она сразу смекнула, что к чему. Андреев был при полном параде:



она заметила воротничок белой рубашки под пиджаком, хорошо, словно женской рукой выглаженные брюки, новенькие, только что из коробки ботинки. «Надолго ли?» — поинтересовалась она, и он ответил, что, возможно, к вечеру вернется. «Не вернетесь! — засмеялась она. — Я-то все понимаю. Стесняться тут нечего, сейчас это модно. Ну, знакомства по переписке я имею в виду. Сейчас половина людей так знакомятся, а потом семьи создает. Все у нас по-новому, не как раньше. Двадцать первый век скоро!» Андреев улыбнулся простоте, наивности предположения и не стал ее разубеждать. «Все же вы возвращайтесь, без вас тут скучно будет, — сказала Нина на прощанье. — И вообще, это так необычно, что вы уезжаете...» Она обняла его, будто он уезжал на долгий-долгий срок.

Электричка прибыла по расписанию, в вагоне ему уступили, и он с удовольствием сел, потому что новая обувь уже нагирала. Весь путь до Москвы не выпускал из рук сумки, словно в ней лежало нечто драгоценное, очень важное. В некотором нетерпении он даже поглаживал ее и посматривал в окно, на пейзажи и людей на станциях, когда поезд останавливался. Он всматривался в лица, пытался понять, действительно ли произошли перемены после недавних событий в стране, но люди казались прежними. Да и как они могли в одночасье перемениться, он тоже не понимал.

Метро показалось шумным, поразило своим грохотом. «До чего же можно отвыкнуть от города за один-то год!» — подумал он.

Он продолжал рассматривать людей, быть может, не слишком скрывая этого, и они поворачивали к нему лица, смотрели в ответ, словно спрашивая, что ему нужно. От духоты он уже плохо соображал, чувствовал себя растерянно, пришибленно. Шум и толкотня сбили его с толку. Отвыкнув от города, он не мог сообразить, как держать себя в толпе. Вероятно, прежде его тело было гибче и послушнее, легко избегало столкновений с идущими навстречу. Сегодня же каждый норовил его толкнуть, ударить плечом, прикрикнуть: «Куда ты лезешь, старик?» Это больно кольнуло самолюбие. Андреев в эти минуты и вправду чувствовал себя немощным, потерявшимся, почти незрячим стариком. Никто не спешил прийти на помощь, все толь-

ко толкали и бранили. Он вцепился в свою сумку, боясь с ней расстаться. На эскалаторе, когда он переходил с одной станции на другую, его трясло; он обливался потом, чувствуя при этом холод. Застегнул пальто на все пуговицы, но и тогда не сумел согреться.

Вся эта поездка, придумывавшаяся бессонными ночами, получалась не такой, какой представлялась. Все шло не по плану. Вначале он перепутал станции, затем, вместо того чтобы сделать переход, стал подниматься на выход. Он готовился опустить руки, зная, что очередная ошибка выведет его из себя и он развернется и поедет назад, в свою Константиновку, размокающую постепенно от дождей, замершую в ожидании осени, засыпающую. Вернется туда, где мысль о поездке окончательно сведет его с ума, не позволит жить, не даст спокойно существовать, будет гонять из угла в угол по небольшой комнатке, где давно изучен, прекрасно знаком каждый предмет. Где все лежит на своих местах, и от этого порой не по себе — от спланированности всего: распорядка дня, занятий, размышлений. Тебе нужен определенный предмет — просто протягиваешь руку и берешь. И так день за днем. Не происходит ничего, кроме привычного, заученного движения. Дни слетают с отрывного календаря, листки отправляются в мусорную корзину. День за днем. Часы идут, требуя подзавода, — и ты уже знаешь день недели и час, когда достанешь ключик из хрустальной пепельницы, будешь вращать его, пока не почувствуешь упор, натяжение пружины. Часы продолжают идти в прежнем ритме, а ты загадаешь следующие день и час, когда снова достанешь ключик.

Ты покорно следуешь за стрелкой часов, становясь ее заложником, потому что точно определил, в котором часу встанешь, когда зажжешь огонь под чайником, когда польешь растения и сходишь к соседу, сколько времени у него проведешь. Рассчитываешь даже, сколько минут потребуется, чтобы уснуть. Удобно, но лишено смысла. Не соотношенный с жизнью, ее течением и пульсацией распорядок, подходящий тому, кто бежит от самого себя, от тех необходимых дел и вещей, без которых невозможно продолжение самой жизни. Можно до скончания дней отгородиться от всего и уйти в

итоге незаметно не только для других, но и для самого себя. Проще всего слиться с привычной обстановкой, стать ее частью, предметом в пейзаже, точкой, никем...

Нужный автобусный маршрут ему подсказали. Не видя ничего вокруг, он доехал до конечной остановки. То опускал, то поднимал с пола гремевшего автобуса сумку, тер щеки, страхась наступления развязки, того, что столько лет откладывал, отодвигал. Того, во что до сих пор не верил — в сам факт уже свершившегося, неоправдимо, существовавшего в реальности. И если Ирина приняла все сразу, то Андреев продолжал сопротивляться и отказывался верить в произошедшее.

У входа, под массивными чугунными, открытыми настежь воротами купил у пучеглазой, мычащей, наверное немой, женщины тюльпаны. Сунул ей десятку, сдачи дожидаться не стал. Пошел, озираясь по сторонам, не помня дороги, по которой однажды его провезли на машине. Ноги заплетались, мучила жажда. Страшно было поворотить назад, прервать пытку, на которую Андреев обрек себя сам.

Откуда-то справа послышался плач, и женщина в черном воздела руки к небу, а стоявшие подле нее опустили лица. Прогремел мотоцикл, тащивший за собой тележку с лопатами, кирками и прочим скарбом, прошли какие-то солдаты, шаркая сапогами по асфальтовой дорожке. Солнце из последних сил расставалось со своим жаром и слепило глаза. Андреев обмахивался шляпой и продолжал идти застегнутый на все пуговицы. Натертые ноги ныли.

Народу становилось все меньше, и вскоре он очутился в небольшом лесу, где мощные старые дубы спасали путников от солнечных лучей, где веяло прохладой и пахло застоявшейся водой. Словно приветствуя его, пели птицы, стучал где-то мотор генератора и слышались далекие крики людей. Чем ближе он подбирался к цели, тем тише становилось вокруг. И вот наконец показался знакомый поворот — он навсегда запомнил его шесть лет назад — дорожка стала уже. Она вела мимо рядов могил все дальше, и уже маячил впереди наполовину скрытый листовой бетонный забор.

Андреев свернул за пышным кустом, ступил в лужицу, забрызгал брючину, сделал еще нес-

колько шагов и остановился перед могилой без ограды. Неухоженный ее вид больно кольнул в самое сердце, и он опустился на колени, рассмотрел сквозь кольшущиеся стебли сорной травы выгравированный черно-белый портрет на немывтом, позеленевшем по углам памятнике и, не помня себя, принялся выдирать, выкорчевывать безымянную дикую растительность. Несколько раз резал руки, вытирал выступившую кровь платком, быстро ставшим каким-то кроваво-бурым от впитавшейся крови и земли. Он отирал пот, оставляя на лбу, щеках и подбородке грязные разводы. Не останавливался до тех пор, пока все сорняки не были отброшены в ближайšie кусты. Только тогда поднял глаза, чтобы посмотреть на портрет на могильной плите, чтобы прочесть ту самую надпись, что снилась ему долгие годы, пробуждала по ночам, терзала, не давала жить:

Старшина  
Андреев  
Вадим Васильевич  
29.IX.1966 – 21.VI.1985  
Погиб при выполнении  
интернационального долга

Когда мы узнали, что ты погиб, я сказал маме: «Это какая-то ошибка. Этого не может быть». Помню себя в то утро: стою на лестничной площадке перед распахнутым почтовым ящиком, из него выглядывает обложка свежего «Знамени», в руках у меня извещение за номером Б256219 из районного военного комиссариата. Сверяю данные: на мое имя, на наш адрес, вписано в типографский бланк обращение: «Уважаемый Василий Васильевич. С прискорбием извещаю вас...» Возникло желание порвать этот никчемный, ошибочный документ и ехать на работу, но ноги сами повели обратно на наш этаж, к незакрытой двери, к растерянной маме: «Зачем ты вернулся?..» Словно почувствовав что-то, она не стала закрывать за мной дверь. Я ответил, что нам нужно ненадолго присесть. Она выхватила бумагу из моих рук... Дальше, Вадька, я мало что помню. Она сидит на полу, а я твержу: «Это ошибка, я сейчас пойду в военкомат, и там все прояснится. Все будет хорошо. Он вернется в сентябре, как и обещал, ко дню

рождения...» Мне показалось, что я напрасно лгу ей и себе, что не будет никакого сентября, никакого возвращения, никаких пирогов с капустой. Их ты просил в первую очередь. Всегда любил их больше чем с рисом и яйцом. Видимо, тебе не нравилась начинка, которую я для них делал. Но это ничего, я никогда не огорчался (разве самую малость), стараясь в следующий раз сделать лучше.

Я умолк и сел рядом с мамой плечом к плечу. Мы больше не говорили, не смотрели друг на друга. Она нащупала на полу мою руку и крепко сжала. Так прошло около получаса. Мама вернула мне бланк, поднялась, одернула помявшееся платье, прошла в твою комнату и долго оттуда не выходила. Потом вернулась, открыла фотоальбом, вытащила твою фотокарточку, сделанную в последнем классе, прислонила к вазе, стоявшей на секретере, долго смотрела. Я рассуждал, что делать дальше. Конечно, следовало идти в военкомат, решать какие-то вопросы, что-то выяснять, предпринимать. В голове ничего не укладывалось. Подо мной качался пол, словно я стоял на палубе корабля, из штиля попавшего в волнение. Так, по невидимым волнам подо мной уплывала от нас прежняя жизнь. Жизнь, в которой был ты. Не уверен, что тогда рассуждал о случившемся в этих же словах; по правде, я вообще ничего не помню и могу лишь предполагать.

Знаешь, ведь до этого самого лета, до минуты, когда пишу это, я не верил до конца в твою смерть. Жила какая-то надежда, что ты жив. Что, может быть, попал в плен. Мы слышали истории про попавших в плен советских солдат. Некоторые, Вадька, до сих пор возвращаются, хотя война закончилась... Потом мне рассказали, что ты погиб в ущелье Панджшер от разрыва минометного снаряда рядом с твоей позицией. Ты был снайпером, Вадька, и я так гордился этим! Всем-всем, о чем ты писал мне оттуда, даже каким-то не самым благовидным поступкам. Да, возможно, тебе не стоило принимать участие в той драке и бить своего товарища... Прости, лезу не в свое дело.

Мы с твоей мамой через многое прошли, прежде чем смогли увидеть твой гроб. Холодный, казалось, монолитный цинк. Не было даже окошечка, чтобы мы смогли увидеть твое ли-

цо. Именно поэтому я столько лет допускал мысль, что в том гробу было не твое тело, что все случившееся — неправда, и ты жив, жив, жив. Мама во все это не верила. Она сдалась сразу. Яд отчаяния проник в ее сердце, вот почему она больше не приезжает к тебе. Она умерла, Вадька, и я остался совсем один. Но я живу и не жалею. Верить ли? У меня дом в небольшом поселке, все самое необходимое. Я вышел на пенсию, больше не порчу глаза за вычиткой.

Хоронили тебя в дождливый день. Помнишь, ты явился на свет под шум дождя? Под него ты уходил в вечную тьму.

Сейчас ты обязан, ты должен спросить, жалею ли я о своей настойчивости, об упрямстве, о бескомпромиссности выбора, сделанного мною за тебя. Вадим, у меня сердце кровью обливается, когда я думаю, что из-за меня ты ушел в армию. Ты мог получить отсрочку, поступив в институт, ты мог... Вадим, прости, это из-за меня ты попал в Афганистан. Никто, кроме меня, не виноват, ты не можешь винить никого иного — это я распорядился твоей жизнью. Не проходит и дня, чтобы я не думал об этом. Если бы не я, ты бы сейчас жил. Была бы жива мама. Теперь есть только я один — наедине со своим эгоизмом, самокопанием, со всем, что начинается с «само». Меня не спасут никакие оправдания. Мне бы только узнать, что ты не сердись на меня.

Прости и за то, что столько лет не приезжал к тебе. Не верил, что это нужно. Не понимал, зачем это нужно. А вдруг это не ты там, под землей? Мама умерла, и некому стало ухаживать за могилой. Сколько раз я собирался поехать, уговаривал себя, но не мог. Не мог, может быть, физически. Знал, что ноги не послушают, сколько ни уговаривай. Не хотел вновь оказаться на этом участке земли. Даже не видел памятник, который мама установила одна, не видел портрет, выбранный ею для гравировки. Открестился от всего, сделал вид, что меня не касается. Я был жесток по отношению к ней: не поддержал, не сделал всего, что было в моих силах. Каяться поздно, но я каюсь.

Этим летом я много писал. Помнишь, ты сам когда-то мечтал стать писателем? Разумеется, никакой я не писатель, но мне пришлось в голову зафиксировать некоторые воспомина-

ния, в том числе о тебе. О том, каким ты был, каким рос, что было в твоём детстве. Это оказалось куда увлекательней, чем описывать собственную жизнь. Я ничего не присочинил, как, наверное, это часто делается — написал как было. Все это в пяти тетрадах, которые я сегодня привез. Я обратил внимание, что у меня — от тетради к тетради — постепенно испортился почерк. В последней вообще ничего не разберешь, на это потребуется много времени.

Еще в тетрадах есть кое-что обо мне. Я записал все, что посчитал нужным. Никому не показывал и не собираюсь. Все слишком личное. Я ни в чем не схож с теми авторами, чьи рукописи время от времени попадали мне в руки. Они изливали собственную душу, рассказывая исключительно о себе. Но не это составляет литературу, как я думаю. Честность честности рознь, равно как искренность и откровенность. Я постарался написать просто и ясно, для единственного читателя.

Завтра утром я соберусь и поеду к тебе. Если этого не случится, то грош мне цена.

Твой отец.

Андреев открывает сумку, извлекает из-под смены белья пять толстых тетрадей и уклады-

вает их на могиле рядом с принесенными тюльпанами. Он долго стоит неподвижно и глядит куда-то вперед, где, пробиваясь сквозь густые дубовые кроны, падает на памятники солнечный луч. Пахнет сыростью, покоем и одиночеством. Когда Андреев вернется сюда в следующий раз, а случится это завтра около полудня, верхнюю тетрадь промочит небольшой дождь. Влага, проникнув под обложку, начнет размывать буквы. Синие чернила растекутся по странице, написанное потеряет четкость. Дожди будут идти еще и еще. Он приедет снова в конце сентября, в Вадькин день рождения, и найдет тетради уничтоженными.

### **Филипп Александрович РЕЗНИКОВ**

*родился в Москве в 1981 году.*

*Окончил Литературный институт им. А.М. Горького*

*(семинар прозы С.Н. Есина).*

*Автор книг «Московский театр Олега Табакова.*

*История в тридцати сезонах» (2017)*

*и «Московский театр Олега Табакова.*

*История в тридцати пяти сезонах» (2022).*

*Рассказы публиковались в журналах «Север», «Наш современник»,*

*«Неман», «Звезда»,*

*а также в «Независимой газете».*

